

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!

ДЖОН ИРВИНГ



ДОРОГА ТАЙН

18+

Джон Ирвинг по-прежнему остается непревзойденным хореографом тех сногшибательных бедствий, что обитают где-то в промежутке между совпадениями и судьбой.

Washington Post

Большой роман

Джон Ирвинг

Дорога тайн

«Азбука-Аттикус»

2015

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

Ирвинг Д.

Дорога тайн / Д. Ирвинг — «Азбука-Аттикус», 2015 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-18486-2

Впервые на русском – новая сага о памяти и судьбе от блистательного Джона Ирвинга, автора таких всемирных бестселлеров, как «Мир глазами Гарпа» и «Отель „Нью-Гэмпшир“», «Правила виноделов» и «Сын цирка», «Молитва об Оуэне Мине» и «Мужчины не ее жизни». Когда Хуан Диего вырастет, он уедет в США и станет знаменитым писателем. А в мексиканском детстве судьба ведет «читателя свалки» от приюта «Дом потерянных детей» к «Дива-цирку» с его дрессированными львами и воздушными гимнастами. У Хуана Диего есть младшая сестра Лупе, и она умеет читать мысли – но только он понимает, что она говорит. «Обычно она права насчет прошлого... Будущее она читает не так точно». Ей открыты все трагедии минувшего – но она пытается предотвратить бедствие, которое еще предстоит. И вот через много лет Хуан Диего отправляется из Нью-Йорка на Филиппины, где его грезы и воспоминания наконец столкнутся с грядущим. Удивительным образом рядом с ним всегда оказывается кто-нибудь из пары таинственных красавиц, матери и дочери, встреченных им в самолете... «От первой до последней страницы этот роман пронизан добротой и верой в любовь, в искупительную силу человечности, не скованной условностями и общественными институтами» (The New York Times Book Review).

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-389-18486-2

© Ирвинг Д., 2015
© Азбука-Аттикус, 2015

Содержание

1	8
2	18
3	27
4	32
5	39
6	46
7	55
8	63
9	74
10	83
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Джон Ирвинг Дорога тайн

John Irving
AVENUE OF MYSTERIES
Copyright © 2015 by Garp Enterprises, Ltd.
All rights reserved

БОЛЬШОЙ РОМАН

Серия «Большой роман»

Перевод с английского Игоря Куберского
Оформление обложки Вадима Пожидаева
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© И. Ю. Куберский, перевод, 2020
© И. В. Стефанович, примечания, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

*Мартину Беллу
и Мэри Элен Марк.
То, что мы начали вместе,
давайте вместе и закончим.*

*Также Минни Доминго
и Рикю Данселу
и их дочери Николь Дансел
в благодарность за то,
что показали мне Филиппины.*

*И моему сыну Эверетту,
моему переводчику в Мексике,
а также Карине Хуарес,
нашему гиду в Оаксаке, —
dos abrazos muy fuertes!*

Брось напрасные скитанья,

¹ Здесь: крепко обнимаю обоих (исп.).

Все пути ведут к свиданию...
Уильям Шекспир.
Двенадцатая ночь
(перев. Э. Линецкой)

1

Потерянные дети

При случае Хуан Диего говорил: «Я мексиканец – я родился в Мексике, я вырос там». Позднее он взял за правило говорить: «Я американец – я прожил в Соединенных Штатах сорок лет». Или же, дабы уйти от темы национальности, Хуан Диего любил говорить: «Я со Среднего Запада, – вообще-то, я из Айовы».

Он никогда не говорил, что он мексикано-американец. Дело было не только в том, что Хуану Диего не нравился такой ярлык, а это, по его мнению, и был ярлык, что ему действительно не нравилось. Хуан Диего полагал, что принято считать, будто для американцев с мексиканским прошлым характерно нечто общее, а он не мог найти общий язык со своим собственным прошлым; по правде говоря, он и не искал его.

Хуан Диего говорил, что у него было две жизни – две отдельные и совершенно разные жизни. Мексиканский опыт был его первой жизнью, когда он был ребенком и подростком. После того как он покинул Мексику – куда никогда не возвращался, – у него была вторая жизнь, с американским, то есть жителя Среднего Запада, опытом. (К тому же не заявлял ли он, что, грубо говоря, во второй жизни у него было не так уж много событий?)

Хуан Диего всегда утверждал, что в своих мыслях, то бишь в воспоминаниях, а также и в мечтах, он жил и переживал две свои жизни на «параллельных путях».

Близкий друг Хуана Диего – она же его врач – подтрунивала над ним по поводу так называемых параллельных путей. Она постоянно говорила ему, что он либо ребенок из Мексики, либо взрослый из Айовы. Хуан Диего мог, когда нужно, поспорить, но тут он с ней соглашался.

До того как бета-блокаторы вмешались в его сны, Хуан Диего говорил своему дорогому врачу, что прежде он просыпался даже от самого «безобидного» из своих повторяющихся кошмаров. Кошмар, о котором шла речь, по сути, был обязан тому памяtnому утру, когда Хуан Диего стал калекой. Честно говоря, только начало этого кошмара или воспоминания было безобидным – само же несчастье произошло в Оахаке (Мексика), в районе городской свалки, в 1970 году, когда Хуану Диего было четырнадцать лет.

В Оахаке он был тем, кого называли «дитя свалки» (*un niño de la basura*); он жил в лачуге в Герреро, поселении для семей, которые работали на свалке (*el basurero*). В 1970 году в Герреро проживало всего десять семей. В то время в городе Оахака жило около ста тысяч человек; многие из них не знали, что сбором и сортировкой мусора на *basurero* занимались в основном дети свалки. Детям был поручен отбор стекла, алюминия и меди.

Те, кто знал, чем занимаются дети свалки, называли их *los pepenadores* – «мусорщики». В четырнадцать лет таким мусорщиком был Хуан Диего: дитём свалки и мусорщиком. Но мальчик также был читателем; говорили, что *un niño de la basura* сам научился читать. Как правило, дети свалки не самые заядлые читатели, и среди юных читателей любой крови, где бы они ни родились, редко бывают самоучки. Эти разговоры и привели к тому, что иезуиты, которые так высоко ставили образование, услышали о мальчике из Герреро. Два старых священника-иезуита из храма Общества Иисуса называли Хуана Диего «читателем свалки».

– Надо принести читателю свалки хорошую книгу, а то и две, – бог знает, что за чтиво может попасться мальчику на *basurero*! – говорил либо отец Альфонсо, либо отец Октавио. Когда один из этих двух старых священников говорил: «надо» что-то сделать, – именно брат Пепе всегда был тем, кто всегда это и делал. А Пепе был заядлым читателем.

Во-первых, у брата Пепе была машина, и, поскольку он приехал из города Мехико, передвигаться по Оахаке было для него, в общем, несложно. Пепе был учителем в иезуитской

школе; эта школа уже давно преуспевала – все знали, что среди действующих школ «Общество Иисуса» на хорошем счету. С другой стороны, иезуитский приют был относительно новым учреждением (прошло менее десяти лет с тех пор, как под него переоборудовали бывший монастырь), и не все были в восторге от названия приюта – «Hogar de los Niños Perdidos» звучало для некоторых слишком длинно и отчасти сурово.

Но брат Пепе вложил свое сердце в школу и приют; со временем большинство из тех чутких душ, которые возражали против самого словосочетания «Дом потерянных детей», несомненно, признают, что, помимо всего прочего, иезуиты довольно хорошо вели и дела приюта. Кроме того, все уже сократили название этого места до «Потерянные дети». Лишь одна из монахинь, которая присматривала за детьми, не очень-то церемонилась с этим названием, но справедливости ради надо отметить, что, когда сестре Глории случалось цедить сквозь зубы: «Los perdidos», она, должно быть, имела в виду лишь парочку непослушных детей, а не всех сирот, – наверняка слово «потерянные» в устах старой монахини относилось лишь к нескольким детям из тех, кто доводил ее до белого каления.

К счастью, не сестра Глория приносила на *basurero* книги для юного читателя свалки; если бы Глория выбирала и доставляла книги, история Хуана Диего могла бы закончиться, так и не начавшись. Но брат Пепе ставил чтение книг превыше всего; он и иезуитом стал потому, что иезуиты приучили его к чтению и представили Иисусу, впрочем, не обязательно именно в такой последовательности. Лучше было не спрашивать у Пепе, в чем он обрел спасение – в вере или в чтении – и в чем больше.

В свои сорок пять лет он был слишком толстым. «Выгляжу как херувим, если не как небесное существо» – так описывал себя брат Пепе.

Пепе был сама добродетель. Он воплощал в жизнь изречение святой Терезы из Авилы: «От глупых молитв и святых с кислыми минами, Господи, избавь нас». Он сделал эти святые ее слова главными в своих ежедневных молитвах. Неудивительно, что дети любили его.

Но брат Пепе никогда прежде не был на *basurero* Оахаки. В те дни там, на свалке, сжигали все, что только можно; повсюду были костры. (Для разжигания годились и книги.) Когда Пепе вышел из своего «фольксвагена-жука», запах *basurero* и жар костров напомнили ему ад в его представлении – только он не представлял себе, что там работают дети.

На заднем сиденье маленького «фольксвагена» лежали очень хорошие книги – хорошие книги, которые в настоящий момент Пепе держал в руках, были лучшей защитой от зла. Разве удержишь в руках веру в Иисуса, а вот хорошие книги – вполне.

– Я ищу здесь читателя книг, – сказал Пепе работникам свалки, как взрослым, так и детям.

Los repenadores, мусорщики, с нескрываемым презрением посмотрели на Пепе. Было совершенно очевидно, что чтение у них не в чести. Первым ему ответил один из взрослых, а точнее женщина, возраста Пепе или чуть моложе, вероятно мать одного или нескольких мусорщиков. Она сказала Пепе, что ему нужен Хуан Диего, которого следует искать в Герреро – в лачуге *el jefe*².

Брат Пепе был сбит с толку; возможно, он неправильно ее понял. *El jefe* был хозяином свалки – он был главным на *basurero*. Не сынок ли хозяина этот читатель? – спросил Пепе работницу.

Несколько детей свалки засмеялись, а потом отвернулись. Взрослым это не показалось смешным, а женщина только и сказала: «Не совсем». Она указала в сторону Герреро, который был расположен на склоне холма ниже *basurero*. Лачуги в поселении были собраны из материалов, найденных работниками на свалке, а лачуга *el jefe* находилась с краю – ближе к свалке.

² Босс (*исп.*).

Высоко над *basurero* стояли столбы дыма – черные колонны достигали неба. Над головой кружили стервятники, но Пепе видел, что падальщики есть и внизу; повсюду на *basurero* рыскали собаки, обходя стороной адские огни и неохотно уступая дорогу водителям в грузовиках, но едва ли еще кому, кроме них. Собаки были непростым соседством для детей, потому что и те и другие рылись в мусоре – разве что искали разное. (Собак не интересовали стекло, алюминий или медь.) Собаки на свалке были в основном бездомными, а некоторые там и дохли.

Пепе недолго пробыл возле *basurero*, иначе бы обнаружил мертвых собак или увидел бы, что с ними делают: их сжигали, но не всегда до того, как стервятники обнаруживали падаль.

В Герреро на склоне холма Пепе увидел еще собак. Это были домашние собаки, принадлежавшие тем, кто работал на *basurero* и жил в поселении. Пепе отметил, что собаки в Герреро выглядели упитаннее и более ревностно охраняли свою территорию, чем собаки на свалке. Они больше походили на обычных собак – были более резвыми и агрессивными, чем собаки на свалке, которые, как правило, вели себя приниженно и воровато, хотя у собак свалки были свои хитрые приемы контролировать территорию.

В общем, считал Пепе, не хотелось бы быть укушенной собакой с *basurero* или из Герреро. В конце концов, большинство собак в Герреро были взяты со свалки.

Брат Пепе отвозил больных из «Дома потерянных детей» на осмотр к доктору Варгасу в больницу Красного Креста на Армента-и-Лопес; Варгас сделал своим приоритетом лечение в первую очередь детей из приюта и детей со свалки. Доктор Варгас говорил Пепе, что детимусорщики на *basurero* больше всего подвергаются опасности из-за собак и из-за игл – на свалке было много выброшенных шприцев с использованными иглами. *Un niño de la basura* может легко получить укол старой иглой.

– Гепатит В или С, столбняк – не говоря уже о какой угодно форме бактериальной инфекции, – сказал доктор Варгас Пепе.

– Полагаю, – сказал брат Пепе, – что любая собака и на *basurero*, и в Герреро может оказаться бешеной.

– Просто детям свалки надо делать прививки от бешенства, на случай если одна из этих собак покусает их, – сказал Варгас. – Но эти дети больше всего боятся игл. Они боятся тех старых игл, которых и *надо* бояться, но из-за этого они боятся прививок! В случае собачьего укуса дети свалки больше боятся прививки, чем бешенства, а это неправильно.

Пепе считал Варгаса хорошим человеком, хотя Варгас был человеком науки, а не верующим. (Пепе знал, что с духовной точки зрения Варгас, мягко говоря, мог быть упертым до занудства.)

Размышляя об опасности бешенства, Пепе вышел из своего «фольксвагена» и направился к лачуге *el jefe* в Герреро; руки Пепе плотно обхватывали стопку хороших книг, которые он принес для «читателя свалки», и он настороженно поглядывал на всех этих лающих и недружелюбно настроенных собак.

– *Hola!*³ – крикнул толстяк-иезуит в сетчатую дверь хижины. – У меня книги для Хуана Диего-читателя – *хорошие* книги!

Из лачуги *el jefe* послышалось злобное рычание, и он отступил от двери.

Женщина, работавшая на *basurero*, что-то говорила ему про хозяина свалки – про самого *el jefe*. Она назвала его имя. «Вы без труда узнаете Риверу, – сказала женщина Пепе. – У него самый страшный пес».

Но брат Пепе не мог видеть пса, который так злобно рычал в лачуге за дверью с сеткой. Он отступил еще на шаг от двери, которая внезапно открылась, явив его глазам отнюдь не Риверу или кого-то похожего на хозяина свалки. Малорослая хмурая личность в дверях лачуги *el jefe* не была также и Хуаном Диего, а лишь темноглазой девочкой диковатого вида. Это была три-

³ Привет! (*исп.*)

надцатилетняя Лупе, младшая сестра читателя свалки. То, что говорила Лупе, звучало совершенно непонятно – во всяком случае, было мало похоже на испанский. Только Хуан Диего мог понять ее; он был переводчиком своей сестры, ее толкователем. Странная же речь Лупе была не самой большой ее загадкой; девочка читала чужие мысли. Лупе знала, о чем вы думаете, – а иногда она знала о вас даже больше вас самих.

– Это какой-то тип с кучей книг! – крикнула Лупе в лачугу, вызвав тем самым целую какофонию грозных лающих звуков, издаваемых невидимой собакой. – Он иезуит и учитель – один из добротворцев «Дома потерянных детей». – Лупе сделала паузу, читая мысли брата Пепе, который пребывал в состоянии легкого замешательства. Пепе не понял ни слова из того, что она сказала. – Он думает, что я умственно отсталая. Он боится, что приют не примет меня – иезуиты посчитают меня необучаемой! – сообщила Лупе Хуану Диего.

– Она не умственно отсталая! – выкрикнул мальчик откуда-то из лачуги. – Она все понимает!

– Полагаю, я ищу твоего брата? – спросил иезуит девочку.

Пепе улыбнулся ей, и она кивнула; Лупе видела, что он вспотел от титанического усилия не уронить книги.

– Иезуит приятный – просто толстоватый, – доложила девочка Хуану Диего.

Она шагнула обратно в лачугу, придержав для брата Пепе дверь, в которую тот осторожно вошел; он искал глазами рычащую, но невидимую собаку.

Мальчик, тот самый читатель со свалки, был едва различим среди окружавших его книжных полок, которые выглядели лучше всего прочего, включая саму лачугу, – дело рук *el jefe*, догадался Пепе. Юный читатель явно не был плотником. Как и многие его одноклассники, только серьезные и читающие, Хуан Диего производил впечатление мечтательного мальчика; он был очень похож на свою сестру, и оба они напоминали Пепе кого-то. В тот момент вспотевший иезуит не мог сообразить, кого именно.

– Мы оба похожи на нашу мать, – сказала ему Лупе, потому что знала мысли гостя.

Хуан Диего, лежавший на продавленном диване с открытой книгой на груди, на сей раз не перевел слова ясновидящей Лупе; юный читатель решил оставить иезуитского учителя в неведении.

– Что ты сейчас читаешь? – спросил мальчика брат Пепе.

– Нашу местную историю – можно сказать, церковную историю, – ответил Хуан Диего.

– Скучота, – сказала Лупе.

– Лупе говорит, что книга скучная, – я думаю, что да, скучноватая, – согласился мальчик.

– Лупе тоже читает? – спросил брат Пепе.

Роль стола возле дивана исполнял кусок фанеры на двух оранжевых ящиках, по виду довольно надежное сооружение. Пепе вывалил на него горку своих книг.

– Я читаю ей вслух – все подряд, – сказал Хуан Диего учителю и поднял свою книгу. – Эта книга о том, что вы пришли третьими, – объяснил Хуан Диего. – И августинцы, и доминиканцы пришли в Оахаку раньше иезуитов – вы оказались в городе третьими. Может быть, поэтому иезуиты не такие влиятельные в Оахаке, – продолжал мальчик. (Для брата Пепе это прозвучало паразитально знакомо.)

– И Дева Мария притесняет Богородицу Гваделупскую – Дева Мария и Богородица Одиночества обирают ее, – непонятно забубнила Лупе. – *La Virgen de la Soledad* – это такая местная героиня в Оахаке, Дева Одиночества и ее дурацкая история про *burro*⁴ *Nuestra Señora de la Soledad* также обирает Гваделупскую Деву. А я гваделупская девочка! – сказала Лупе, указывая на себя; похоже, ее это злило.

⁴ Осел (исп.).

Брат Пепе посмотрел на Хуана Диего, который, казалось, был сыт по горло распрями Дев, но перевел все это.

– Мне знакома эта книга! – воскликнул Пепе.

– Ну, я не удивлен – это одна из ваших, – сказал Хуан Диего и протянул Пепе книгу, которую читал.

От старой книги сильно несло запахом *basurero*, и некоторые страницы опалил огонь. Это был академический том – из тех католических научных трудов, которые почти никто не читает. Книга попала на свалку из собственной библиотеки иезуитов в бывшем монастыре, теперь именуемом «Hogar de los Niños Perdidos». Многие из старых и нечитаемых книг оказались на свалке, когда монастырь был реконструирован, дабы принять сирот и освободить место на книжных полках иезуитской школы.

Без сомнения, это отец Альфонсо или отец Октавио решали, какие книги стоит отправить на *basurero*, а какие сохранить. История иезуитов, которые лишь третьими появились в Оахаке, возможно, не устраивала двух старых священников, подумал Пепе; кроме того, книга, видимо, была написана августинцем или доминиканцем – во всяком случае, не иезуитом, и уже одно это могло обречь ее на адский огонь *basurero*. (Иезуиты действительно уделяли главное внимание образованию, но никто никогда не говорил, что они не конкурентоспособны.)

– Я принес вам несколько книг, которые более читабельны, – сказал Пепе Хуану Диего. – Несколько романов, придуманные истории – то есть беллетристику, – ободряюще сказал он.

– Не знаю, что и думать о беллетристике, – с сомнением произнесла тринадцатилетняя Лупе. – Там не все истории такие, какими им следует быть.

– Не надо было с этого начинать, – сказал ей Хуан Диего. – История про собаку слишком взрослая для тебя.

– Какая история про собаку? – спросил брат Пепе.

– Не спрашивайте, – ответил мальчик, но было слишком поздно; Лупе уже всю рылась в книгах на полках – они были везде, книги, спасенные от огня.

– Это того русского, – с озабоченным видом сказала девочка.

– Она говорит «русского» – но ведь ты не читаешь по-русски, верно? – спросил Пепе Хуана Диего.

– Нет-нет, она имеет в виду писателя. Это писатель русский, – пояснил мальчик.

– Как ты ее понимаешь? – спросил его Пепе. – Иногда я не уверен, что она говорит по-испански.

– Конечно, это испанский! – воскликнула девочка. Она нашла книгу, которая заставила ее усомниться в придуманных историях и в беллетристике, и передала ее брату Пепе.

– Просто язык Лупе немножко особенный, – сказал Хуан Диего. – Я его понимаю.

– Ага, так вот какой русский, – сказал Пепе.

Это был сборник Чехова, „Дама с собачкой“ и другие рассказы».

– Там совсем не про собаку, – пожаловалась Лупе. – Там про мужчину и женщину, которые занимаются сексом друг с другом, хотя они не муж и жена.

Хуан Диего, конечно, перевел это.

– Ее волнуют только собаки, – пояснил мальчик иезуиту Пепе. – Я сказал ей, что для нее это слишком взрослая история.

Пепе затруднялся вспомнить «Даму с собачкой», не говоря уже, разумеется, о самой собачке. Это была история о непристойных отношениях – вот все, что он вызволил из памяти.

– Я не уверен, что вам обоим это подходит, – сказал учитель-иезуит и неловко хохотнул.

Именно в этот момент Пепе осознал, что перед ним английский перевод рассказов Чехова, американское издание; книга была опубликована в 1940-х годах.

– Но это же на английском языке! – воскликнул брат Пепе. – Ты понимаешь по-английски? – спросил он диковатого вида девочку. – Ты умеешь читать и по-английски? – спросил иезуит читателя свалки.

Мальчик и его младшая сестра пожали плечами. «Где я видел раньше, чтобы так пожимали плечами?» – подумал про себя Пепе.

– У нашей матери, – ответила ему Лупе, но Пепе не смог понять ее слов.

– Что насчет нашей матери? – спросил Хуан Диего сестру.

– Его заинтересовало, как мы пожимаем плечами, – ответила Лупе.

– Ты научился читать и по-английски, – медленно сказал Пепе мальчику, а из-за девочки его вдруг непонятно по какой причине пробрала дрожь.

– Английский просто немножко другой – я могу его понять, – ответил мальчик, как будто он все еще говорил о понимании странного языка своей сестры.

Мысли Пепе мчались, опережая одна другую. Это были необычные дети – мальчик мог читать все что угодно; возможно, он был способен понять любые книги. А девочка – ну, она была особенной. Заставить ее нормально говорить было бы непросто. Но разве они, эти дети свалки, не те одаренные ученики, которых искала иезуитская школа? И разве работница с *basurero* не сказала, что Ривера, *el jefe*, «не совсем» отец юного читателя? Кто же был их отец и где он? И никаких признаков матери в этой запущенной развалюхе, размышлял Пепе. Полки были сработаны как надо, но все остальное было ветхим хламом.

– Скажи ему, что мы не потерянные дети – он ведь нашел нас, верно? – заявила вдруг Лупе своему талантливому брату. – Скажи ему, что мы не сырье для приюта. И мне не нужно говорить нормально – ты меня и так прекрасно понимаешь. Скажи ему, что у нас есть мать, – он, наверное, знает ее! – крикнула Лупе. – Скажи ему, что Ривера нам как отец, только лучше. Скажи ему, что *el jefe* лучше любого отца!

– Не тараторь, Лупе! – остановил ее Хуан Диего. – Я ничего не смогу ему сказать, если ты будешь так тараторить.

Много чего тут можно было поведать брату Пепе, начиная с того, что Пепе, вероятно, знал мать детей свалки: она работала по ночам на улице Сарагоса, но также и на иезуитов; она была у них основной уборщицей.

То, что мать детей свалки работала ночами на улице Сарагоса, означало, что, скорее всего, она проститутка, и брат Пепе действительно знал ее. Эсперанса была лучшей уборщицей у иезуитов – понятно, в кого у детей темные глаза и эта привычка беззаботно пожимать плечами, хотя оставалось неясным, откуда в мальчике этот читательский гений.

Что характерно, мальчик не использовал выражение «не совсем», когда говорил о Ривере, *el jefe*, как о потенциальном отце. Как сказал Хуан Диего, хозяин свалки, «вероятно, не был» его отцом, однако Ривера мог бы и быть отцом мальчика – там еще прозвучало слово «возможно»; именно так Хуан Диего и выразился. Что касается Лупе, *el jefe* «определенно не был» ее отцом. По мнению Лупе, у нее было много отцов, «слишком много отцов, чтобы назвать всех», но мальчик и вовсе не стал останавливаться на этой биологической несуразности, быстро перескочив через нее. Он просто сказал, что Ривера и их мать «уже не были вместе в определенном смысле», когда Эсперанса забеременела Лупе.

Это был довольно неторопливый и пространный рассказ о том, какие были впечатления у читателя свалки и у Лупе о хозяине свалки, который «как отец, только лучше», и о том, что эти дети свалки считали себя обладателями собственного дома. Хуан Диего повторил вслед за Лупе, что они «не сырье для приюта». Чуть рисуясь, Хуан Диего высказался по этому поводу следующим образом:

– Мы никакие не потерянные дети, ни сейчас, ни в будущем. У нас здесь, в Герреро, есть дом. У нас есть работа на *basurero*!

Но это вызвало у брата Пепе вопрос, почему они не работают на *basurero* вместе с *los repenadores*. Почему Лупе и Хуан Диего не роются в мусоре вместе с другими детьми? И как с ними обращаются – лучше или хуже, чем с детьми из других семей, которые работают на *basurero* и живут в Герреро?

– Лучше и хуже, – без колебаний сказал Хуан Диего учителю-иезуиту.

Брат Пепе вспомнил, какое презрение к слову «читатель» выразилось на лицах других детей свалки, и только Бог знал, за кого эти маленькие мусорщики принимали диковатую загадочную девочку, от которой у Пепе мурашки бежали по спине.

– Ривера не отпустит нас из лачуги, пока он с нами, – объяснила Лупе.

Хуан Диего не только перевел ее слова; он подробно остановился на этой теме.

Ривера действительно защищал их, сказал мальчик брату Пепе. *El jefe* был и как отец, и лучше, чем отец, потому что он содержал их и присматривал за ними.

– И он никогда не бьет нас, – перебила его Лупе; Хуан Диего послушно перевел и это.

– Понимаю, – сказал брат Пепе.

Но он только теперь начал понимать положение брата и сестры: действительно, лучше было то, что им не приходилось, как другим детям, копаться в хламе на *basurero*, отыскивая и сортируя нужное. А хуже было то, что Лупе и Хуан Диего вызывали в Герреро возмущение у мусорщиков и их семей. Эти двое детей свалки, возможно, получали защиту от Риверы (почему и вызывали возмущение), но *el jefe* был не совсем их отцом. А их мать, работавшая ночами на улице Сарагоса, была проституткой, которая на самом деле не жила в Герреро.

Везде своя неофициальная иерархия, с грустью подумал брат Пепе.

– Что такое иерархия? – спросила своего брата Лупе. (Только теперь Пепе начал понимать, что девочка знала, о чем он думает.)

– Неофициальная иерархия – это то, что другие *niños de la basura* считают себя выше нас, – сказал Хуан Диего сестре.

– Совершенно верно, – сказал Пепе, чувствуя себя не в своей тарелке.

Он явился сюда, чтобы встретиться с читателем свалки, мальчиком из Герреро, о котором было столько слухов, – встретиться и как хороший учитель передать ему правильные книги, а в результате оказалось, что ему самому, иезуиту Пепе, следует многому научиться.

Именно в этот момент и обнаружила себя постоянно скулящая, но невидимая собака, если так можно было назвать юркое маленькое существо, выползшее из-под дивана, похожее скорее на кого-то из грызунов, чем из псовых, подумал Пепе.

– Его зовут Грязно-Белый – он собака, а не крыса! – с возмущением сказала Лупе брату Пепе.

Хуан Диего объяснил это, но добавил:

– Грязно-Белый – маленький грязный трус, притом неблагодарный.

– Я спасла его от смерти! – крикнула Лупе.

Даже когда тощий, скукоженный песик подался к протянутым рукам девочки, он непроизвольно оскалился, обнажив острые зубки.

– Его следовало бы назвать Спасенным-от-смерти, а не Грязно-Белым, – смеясь, сказал Хуан Диего. – Она нашла его, когда он застрял головой в коробке из-под молока.

– Он всего лишь щеночек. Он голодал, – запротестовала Лупе.

– Грязно-Белый все еще голодает, ему чего-то не хватает, – сказал Хуан Диего.

– Замолчи, – велела ему сестра; щенок дрожал у нее на руках.

Пепе попытался скрыть свои мысли, но это было сложнее, чем он себе представлял; он решил, что лучше ему уйти, пусть даже резко, чем позволить ясновидящей девочке читать его мысли. Пепе не хотел, чтобы тринадцатилетнее невинное дитя знало, о чем он думает.

Он направился к своему «фольксвагену». Покидая Герреро, иезуитский учитель так и не обнаружил ни признаков Риверы, ни «самой страшной» собаки *el jefe*. Вокруг него над *basurero* поднимались шпили черного дыма, вроде самых черных мыслей добросердечного иезуита.

Отец Альфонсо и отец Октавио смотрели на мать Хуана Диего и Лупе – Эсперансу, проститутку, – как на «падшую». В представлении двух старых священников не было падших душ, которые упали бы ниже проституток; не было более жалких и потерянных созданий Божьих среди представителей человеческого рода, чем эти несчастные женщины. Иезуиты наняли Эсперансу уборщицей в якобы святой попытке *спасти* ее.

Но разве эти дети свалки также не нуждаются в спасении? – думал Пепе. Разве *los niños de la basura* не «падшие» или разве в будущем им не угрожает падение? Или просто в дальнейшем?

Когда этот мальчик из Герреро стал взрослым и жаловался своему врачу на бета-блокаторы, рядом с ним должен был бы стоять брат Пепе; Пепе дал бы свидетельские показания относительно детских воспоминаний Хуана Диего и его самых дерзновенных мечтаний. Брат Пепе знал, что даже кошмары этого читателя свалки стоили того, чтобы их сохранить.

Когда эти дети едва вошли в подростковую пору, самый повторяющийся сон Хуана Диего не был кошмаром. Мальчик часто летал во сне – хотя не совсем так. Это был своеобразный и неудобный вид воздухоплавания, мало походивший на «полеты». Сон всегда был один и тот же: люди в толпе смотрели вверх и видели, что Хуан Диего ходит по небу. Снизу – то есть с земли – казалось, что мальчик очень осторожно идет по небесам вниз головой. (Также казалось, что он считает про себя.)

В движении Хуана Диего по небу не было ничего произвольного – он не летал свободно, как птица; ему не хватало мощной, прямолинейной тяги самолета. Тем не менее в этом часто повторяющемся сне Хуан Диего знал, что он там, где ему и место. С его перевернутой с ног на голову небесной точки зрения, он мог видеть встревоженные, запрокинутые вверх лица в толпе.

Описывая Лупе свой сон, мальчик также говорил своей странной сестре:

– В жизни иногда наступает момент, когда нужно отпустить то, за что держишься обеими руками. «В жизни наступает момент, когда ты должен отпустить руки – обе руки».

Естественно, для тринадцатилетней девочки это оставалось непонятным – как было бы непонятным даже для нормальной девочки. Ответ Лупе звучал невразумительно даже для Хуана Диего.

Однажды, когда он спросил ее, что она думает о его сне, в котором он ходит вверх ногами по небесам, Лупе ответила, как обычно, загадочно, хотя Хуан Диего, по крайней мере, точно уловил ее слова.

– Это сон о будущем, – сказала девочка.

– О чем будущем? – спросил Хуан Диего.

– Надеюсь, не о твоём, – еще более загадочно ответила его сестра.

– Но я люблю этот сон! – сказал мальчик.

– Это сон о смерти, – вот и все, что сказала Лупе.

Но теперь, уже пожилым, Хуан Диего из-за приема бета-блокаторов утратил свой детский сон, в котором он ходит по небу, и не мог заново пережить кошмар того давнего утра в Герреро, когда он стал калекой. Читателю свалки не хватало этого кошмара.

Он пожаловался своему врачу.

– Эти бета-блокаторы блокируют мои воспоминания! – воскликнул Хуан Диего. – Они крадут мое детство – они грабят мои сны!

Для его врача вся эта истерия означала, что Хуану Диего не хватало адреналина. (Бета-блокаторы действительно влияют на уровень адреналина.)

Его доктор, деловитая женщина по имени Розмари Штайн, была близким другом Хуана Диего в течение двадцати лет; она была знакома с его жалобами, которые относил к преувеличениям истерического свойства.

Доктор Штайн прекрасно знала, почему назначила бета-блокаторы Хуану Диего: ее дорогой друг рисковал получить инфаркт. У него было не только весьма высокое давление (170 на 100), но он был почти уверен, что его мать и один из его возможных отцов умерли от инфаркта; его мать – определенно от этого, еще молодой. У Хуана Диего не было недостатка в адреналине – гормоне «борьбы или бегства», который выделяется в моменты стресса, страха, бедствия и беспокойства, а также во время сердечного приступа. Кроме того, под действием адреналина кровь отливает от кишечника и прочих внутренностей и приливает к мышцам, чтобы вы смогли убежать. (Возможно, у читателя свалки было больше потребности в адреналине, чем у большинства людей.)

Бета-блокаторы не предотвращают инфаркт миокарда, объяснила доктор Штайн Хуану Диего, но эти препараты блокируют адреналиновые рецепторы и таким образом защищают сердце от потенциально разрушительного действия адреналина, выделяемого во время сердечного приступа.

– Где находятся мои чертовы адреналиновые рецепторы? – спросил Хуан Диего доктора Штайн (в шутку он называл ее «доктор Розмари»).

– В легких, в кровеносных сосудах, в сердце – почти везде, – ответила она. – Адреналин заставляет сердце биться быстрее. Дыхание затрудняется, волоски на руках встают дыбом, зрачки расширяются, сосуды сужаются – нет ничего хорошего, если у вас сердечный приступ.

– А что было бы хорошо, если у меня сердечный приступ? – спросил ее Хуан Диего. (Дети свалки настойчивы – они из разряда упрямых.)

– Чтобы сердце билось медленно, тихо и расслабленно, а не колотилось как сумасшедшее, – сказала доктор Штайн. – У человека на бета-адреноблокаторах медленный пульс; такой пульс, что бы ни случилось, не может увеличиться.

Снижение кровяного давления имеет свои последствия; человек на бета-блокаторах должен быть осторожен, не пить слишком много алкоголя, который повышает кровяное давление, но Хуан Диего и в самом деле не пил. (Ну, о'кей, он пил пиво, но только пиво – и не слишком много, подумал он.) И бета-блокаторы снижают циркуляцию крови в конечностях; руки и ноги холодеют. Тем не менее Хуан Диего не жаловался на этот побочный эффект своему другу Розмари – он даже как бы невсерьез отметил, что ощущение холода было роскошью для мальчика из Оахаки.

Некоторые пациенты на бета-адреноблокаторах жалуются на сопутствующую сонливость, усталость и непереносимость физических нагрузок, но в его возрасте – Хуану Диего было теперь пятьдесят четыре – какое это имело значение? Он был калекой с четырнадцати лет; его нагрузкой была хромота. За сорок лет он натерпелся хромоты. Хуан Диего больше не хотел никаких нагрузок!

Ему хотелось чувствовать себя более живым, а не таким «заторможенным» – слово, которое он использовал, чтобы описать действие на него бета-блокаторов, когда говорил Розмари об отсутствии у него сексуальных потребностей (в беседе с доктором Хуан Диего не использовал слово «импотент» – он ограничивался словом «заторможенный»).

– Я не знала, что у вас были сексуальные отношения, – сказала ему доктор Штайн; на самом деле она прекрасно знала, что у него не было таковых.

– Моя дорогая доктор Розмари, – сказал Хуан Диего. – Если бы у меня были сексуальные отношения, то, полагаю, я оказался бы заторможенным.

Она выписала ему рецепт на виагру – шесть таблеток в месяц, сто миллиграмм – и сказала, чтобы он экспериментировал.

– Не ждите встречи с кем-нибудь, – сказала Розмари.

Он и не ждал; он никого и не встретил, но он проверял себя.

Доктор Штайн ежемесячно возобновляла свой рецепт.

– Может, половины таблетки достаточно, – сказал ей Хуан Диего после своих проверок.

У него рос запас таблеток. Он не жаловался ни на какие побочные эффекты от виагры. Она вызывала у него эрекцию, он мог испытывать оргазм. Стоило ли отмечать, что при этом у него закладывало нос?

Еще одним побочным эффектом бета-блокаторов является бессонница, но Хуан Диего не находил в этом ничего нового или слишком удручающего; лежать и бодрствовать в темноте со своими демонами было для него чуть ли не утешительно. Многие из демонов Хуана Диего были знакомы ему с детства – он знал их так хорошо, как если бы они были его друзьями.

Передозировка бета-блокаторами может вызвать головокружение, даже обморок, но Хуана Диего не волновали ни головокружение, ни обморок.

– Калеки знают, как падать, падение для нас дело привычное, – говорил он доктору Штайн.

Однако даже больше, чем эректильная дисфункция, его беспокоила разрозненность его снов; Хуан Диего говорил, что его воспоминаниям и снам не хватает хронологической последовательности. Он ненавидел бета-блокаторы, поскольку, разрушая его сны, они отсекали его от детства, а детство имело для него большее значение, чем для других взрослых – для большинства других взрослых, как считал Хуан Диего. Его детство и люди, с которыми он встретился в ту пору, – те, кто изменил его жизнь или кто был свидетелем случившегося с ним в тот решающий момент, – заменяли Хуану Диего религию.

Доктор Розмари Штайн, хотя и была его близким другом, знала далеко не все о Хуане Диего – и очень мало о его детстве. Скорее всего, доктору Штайн была совершенно непонятна в общем нехарактерная для Хуана Диего резкость, с которой он говорил о бета-блокаторах.

– Поверьте мне, Розмари, если бы бета-блокаторы не отняли у меня мою религию, я бы не жаловался вам на них! Наоборот, я бы попросил вас всем назначать бета-блокаторы!

По мнению доктора Штайн, это лишь множило число преувеличений истерического свойства ее вспыльчивого друга. В конце концов, он обжигал руки, спасая книги от огня – даже книги по истории католичества. Однако Розмари Штайн были известны лишь отдельные куски и отрывки из жизни Хуана Диего – ребенка свалки; она знала гораздо больше о своем друге в его зрелые годы. Она и в самом деле не знала мальчика из Герреро.

2

Мария-монстр

Наутро после Рождества 2010 года по Нью-Йорку прокатилась метель. На следующий день неубранные от снега улицы Манхэттена были забиты брошенными автомашинами и такси. На Мэдисон-авеню, неподалеку от Восточной 62-й улицы, сгорел автобус; вращаясь в снегу, его задние шины воспламенились и подожгли это транспортное средство. Снег вокруг почерневшего корпуса был усеян пеплом.

Для гостей отелей, расположенных вдоль южной стороны Центрального парка, его нетронутая белизна, где несколько храбрых родителей с маленькими детьми играли на свежевыпавшем снегу, странно контрастировала с отсутствием какого-либо автомобильного движения на широких авеню и небольших улочках. В это ярко выбеленное утро даже на Коламбус-Серкл было пугающе тихо и пусто; ни одного проезжающего такси на обычно оживленном перекрестке, таком как угол Западной 59-й улицы и Седьмой авеню, – одни лишь застрявшие машины, наполовину погребенные в снегу.

Виртуальный лунный пейзаж Манхэттена утром того понедельника побудил администратора отеля, где остановился Хуан Диего, оказать специальную помощь инвалиду. Такой день был не для калеки, чтобы тот самолично останавливал такси и с риском для жизни куда-то ехал. Администратор предпочел компанию лимузинов – пусть и не из лучших, – чтобы отвезти Хуана Диего в Куинс, хотя поступали противоречивые сообщения относительно того, открыт Международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди или нет. По телевизору говорили, что аэропорт закрыт, но, по неофициальной информации, борт «Катай-Пасифик» вылетал в Гонконг по расписанию. Сколько бы администратор ни сомневался в этом – он был уверен, что рейс задержат, если не отменят, – тем не менее он поддержал обеспокоенного гостя-калеку. Хуан Диего был озабочен тем, чтобы вовремя добраться до аэропорта, хотя после метели никаких вылетов еще не было и не намечалось.

Хуан Диего отправлялся вовсе не в Гонконг – там была лишь вынужденная пересадка, но несколько его коллег убедили его, что по пути на Филиппины ему стоит остановиться, чтобы увидеть Гонконг. Что там можно было увидеть? – спрашивал себя Хуан Диего. Хотя Хуан Диего не понимал, что на самом деле означают «аэромили» (или как их подсчитывать), он понимал, что рейс «Катай-Пасифик» для него бесплатный; его друзья также убедили его, что ему стоит проверить удобство мест в первом классе на рейсах «Катай-Пасифик» – явно в дополнение к тому, что он должен был увидеть.

Хуан Диего полагал, что все это внимание со стороны его друзей было вызвано его уходом из преподавателей. Чем еще можно объяснить то, что его коллеги настаивали на своей помощи в организации этой поездки? Но были и другие причины. Хотя он был молод для пенсионера, он был действительно «инвалидом» – и его близкие друзья и коллеги знали, что он принимает лекарства для сердца.

– Я не собираюсь бросать писать! – заверил он их. (Хуан Диего приехал в Нью-Йорк на Рождество по приглашению своего издателя.)

Хуан Диего сказал, что бросает одно лишь преподавание, хотя в течение многих лет сочинительство и преподавание были неразделимы; вместе они составляли суть всей его взрослой жизни. А один из его бывших учеников-писателей более чем включился в организацию поездки Хуана Диего на Филиппины, взяв ее под свой агрессивный контроль. Этот его бывший студент, Кларк Френч, и подготовил миссию Хуана Диего в Манилу, о чем многие годы думал Хуан Диего, – миссию под знаком Кларка. Писал Кларк с таким же напором и рвением, с каким

взялся за подготовку поездки своего бывшего учителя на Филиппины, – так, во всяком случае, думал о его текстах Хуан Диего.

Тем не менее Хуан Диего не сделал ничего, чтобы воспрепятствовать помощи своего бывшего ученика; он не хотел ранить чувства Кларка. Хотя отправляться в путешествие Хуану Диего было нелегко и он слышал, что Филиппины – страна непростая, даже опасная. И все же он решил, что немного развеяться ему не помешает.

Он и оглянуться не успел, как тур по Филиппинам стал реальностью; его миссия в Манилу предполагала дополнительные поездки и разного рода приключения. Он беспокоился, что цель его поездки на Филиппины скомпрометирована, хотя Кларк Френч сказал бы на это, что горел желанием услужить своему бывшему учителю, поскольку восхищался благородной причиной, которая (издавна!) побуждала Хуана Диего совершить данную поездку.

Еще юнцом-подростком в Оахаке Хуан Диего встретился с американцем – уклонистом от призыва в армию; молодой человек сбежал из Соединенных Штатов, чтобы не попасть на войну во Вьетнаме. Отец этого уклониста был среди тысяч американских солдат, погибших на Филиппинах во Второй мировой войне – но не во время Батаанского марша смерти и не в жестокой битве за Коррехидор⁵. (Хуан Диего иногда забывал детали тех событий.)

Американский уклонист не хотел умирать во Вьетнаме; еще до своей смерти молодой человек сказал Хуану Диего, что хочет посетить Американское кладбище и Мемориал в Маниле, чтобы отдать дань памяти своему отцу, похороненному там. Но уклонившись от призыва и сбежав в Мексику, в этой стране он и закончил свои дни – он умер в Оахаке. Хуан Диего дал тогда себе слово отправиться на Филиппины ради умершего уклониста; это ради него он совершит путешествие в Манилу.

Однако Хуан Диего не знал имени молодого американца; антивоенно настроенный юноша подружился с Хуаном Диего и с его, казалось бы, умственно отсталой младшей сестрой Лупе, но они знали его только как «добротого гринго». Дети свалки познакомились с *el gringo bueno* до того, как Хуан Диего стал калекой. Поначалу молодой американец казался слишком дружелюбным, чтобы быть обреченным на гибель, хотя Ривера называл его «мескальным хиппи», а дети свалки знали мнение *el jefe* об американских хиппи, наводнивших тогда Оахаку.

Хозяин свалки считал грибных хиппи, приезжающих ради галлюциногенных грибов, «глупцами»; он имел в виду, что они искали нечто, по их мнению, запредельное, а по мнению *el jefe*, «нечто такое же смехотворное, как идея взаимосвязи всех вещей», хотя дети свалки знали, что сам *el jefe* поклонялся Деве Марии.

Что касается мескальных хиппи, они были умнее, говорил Ривера, но они занимались «саморазрушением». И к тому же мескальные хиппи не могли обойтись без проституток, – во всяком случае, так считал хозяин свалки. Добрый гринго «убивал себя на улице Сарагоса», говорил *el jefe*. Дети свалки надеялись, что это не так; Лупе и Хуан Диего обожали *el gringo bueno*. Они не хотели, чтобы их любимый юноша разрушал себя сексуальными желаниями или алкогольным напитком из ферментированного сока определенных видов агавы.

– Тут никакой разницы, – мрачно сказал Ривера детям свалки. – Поверьте мне, то, чего вы хотите, не совсем то, что вы получаете в результате. Эти низкие женщины и слишком много мескаля... под конец вам остается созерцать лишь червячка!

Хуан Диего знал, что хозяин свалки имел в виду червя на дне бутылки мескаля, но Лупе сказала, что *el jefe* также подразумевал свой пенис – как он выглядел после свидания с проституткой.

– Ты считаешь, все мужчины только и думают что о своих пенисах, – сказал Хуан Диего своей сестре.

⁵ События Второй мировой войны на Батаанском полуострове Филиппин, в которых с одной стороны принимали участие филиппинские и американские военные, а с другой – японцы. (Здесь и далее примеч. перев.)

– Все мужчины только и думают что о своих пенисах, – сказала ясновидящая.

С того момента Лупе, так или иначе, больше не позволяла себе обожать доброго гринго. Обреченный американец пересек воображаемую линию – возможно, линию пениса, хотя Лупе никогда бы так не сказала.

Однажды вечером, когда в лачуге в Герреро Хуан Диего читал вслух Лупе, с ними был и Ривера и тоже слушал. Возможно, хозяин свалки мастерил новый книжный шкаф, или что-то было не так с барбекю, и Ривера его чинил; может быть, он остался, чтобы посмотреть, не сдох ли Грязно-Белый (он же Спасенный-от-смерти).

Книга, которую читал Хуан Диего в тот вечер, была еще одним выброшенным академическим фолиантом, приговоренным к сожжению кем-то из этих двух старых священников-иезуитов – отцом Альфонсо или отцом Октавио.

Данная штудия, ошеломляющая своей ученостью и нечитабельной академичностью, по правде сказать, была написана иезуитом, и тема исследования носила как литературный, так и исторический характер, а именно – анализ повествовательного стиля Д. Г. Лоуренса по сравнению со стилем Томаса Гарди. Поскольку «читатель свалки» не читал ни Лоуренса, ни Гарди, научный анализ стиля Лоуренса в сравнении его со стилем Гарди даже на испанском языке производил бы мистическое впечатление. А Хуан Диего выбрал именно эту книгу, потому что она была на английском; он хотел побольше попрактиковаться в чтении по-английски, хотя его не очень-то восхищенная аудитория (в лице Лупе, Риверы и малоприятной псини по кличке Грязно-Белый), возможно, поняла бы его лучше *en español*.

Усложняло дело и то, что несколько страниц книги были сожжены и к тому же она была пропитана смрадом от *basurero*; Грязно-Белый все порывался ее понюхать.

Спасенный-от-смерти песик Лупе устраивал хозяина свалки не больше, чем Хуана Диего.

– Лучше бы ты оставила это существо в коробке от молока, – сказал ей *el jefe*, но Лупе (как всегда) возмущенно встала на защиту Грязно-Белого.

И именно тогда Хуан Диего зачитал им вслух неповторимый отрывок, касающийся чьей-то идеи фундаментальной взаимосвязи всех существ.

– Стой, стой, стой, остановись-ка здесь, – прервал Ривера «читателя свалки». – Чья это идея?

– Может быть, того, которого зовут Гарди, – может быть, это его идея, – сказала Лупе. – Или, скорее, этого типа Лоуренса – похоже на него.

Когда Хуан Диего перевел Ривере то, что сказала Лупе, *el jefe* тут же согласился.

– Или идея написавшего эту книгу – не важно кого, – добавил хозяин свалки.

Лупе кивнула в знак того, что и так тоже может быть. Книга была занудной и так и оставалась непонятной; казалось, ее автор настолько погрузился в детали своего исследования, что тема утратила конкретный смысл.

– Что за «фундаментальная взаимосвязь всех существ» – каких это существ, к примеру? – воскликнул хозяин свалки. – Это похоже на то, что сказал бы грибной хиппи!

Его реплика рассмешила Лупе, которая редко смеялась. Вскоре она и Ривера смеялись вместе, что случалось еще реже. Хуан Диего всегда помнил, как был счастлив, когда слышал смех своей сестры и *el jefe*.

И вот, спустя столько лет – а прошло уже сорок лет – Хуан Диего направлялся на Филиппины, в путешествие, которое он совершал в память о безымянном добром гринго. Тем не менее ни один из друзей Хуана Диего не спросил его, каким образом он собирается отдать почести убитому, отцу бывшего уклониста, – оба были безымянны: и павший на поле боя отец, и его умерший сын. Конечно, все друзья Хуана Диего знали, что он пишет романы; возможно, писатель-беллетрист совершал поездку в память об *el gringo bueno* в символическом значении.

Будучи молодым писателем, он действительно много путешествовал, и путешествия были лейтмотивом в его ранних романах, особенно в этом цирковом романе с громоздким

названием, где действие происходит в Индии. Никто не смог отговорить его от этого названия, любил вспоминать Хуан Диего. «История, которая началась благодаря Деве Марии» – какое это было неуклюжее название, а к тому же какая длинная и сложная история! Возможно, самая моя сложная, думал Хуан Диего, пока лимузин катил по пустынным заснеженным улицам Манхэттена, решительно прокладывая путь к автомагистрали имени Франклина Рузвельта. Это был внедорожник, и водитель был преисполнен презрения ко все прочим транспортным средствам и прочим водителям. По словам водителя лимузина, другие транспортные средства в городе были плохо оснащены для движения по снегу и несколько автомобилей, которые были «почти правильно» оснащены, имели «неправильные шины»; что касается других водителей, они не умели ездить по снегу.

– Мы где, по-твоему, – в гребаной Флориде? – рявкнул в окошко водитель какому-то автомобилисту, которого занесло, и он застрял, заблокировав узкую центральную магистраль.

На автомагистрали Рузвельта какое-то такси перепрыгнуло через поребрик и оказалось по колесам в снегу на беговой дорожке, проложенной вдоль Ист-Ривер; таксист пытался откопать задние колеса, но не лопатой, а скребком для лобового стекла.

– Откуда ты взялся, придурок хренов, – из гребаной Мексики? – крикнул ему водитель лимузина.

– Вообще-то, я как раз из Мексики, – сказал Хуан Диего водителю.

– Я не имел в виду вас, сэр, – вы доберетесь до аэропорта вовремя. Ваша проблема в том, что вам просто придется ждать там, – не слишком приветливо сказал водитель. – Ничего не летает, если вы еще не заметили, сэр.

Действительно, Хуан Диего не заметил, что самолеты не летали; он просто хотел быть в аэропорту, готовый улететь, когда объявят посадку на его рейс. Задержка, если она и была, не имела для него никакого значения. Не могло быть и речи о том, чтобы пропустить этот рейс. За каждым путешествием стоит своя причина, подумал он, прежде чем осознал, что эта мысль у него уже записана. Это было то, на чем он более чем решительно настаивал в «Истории, которая началась благодаря Деве Марии». Теперь я снова здесь, путешествую – на что всегда есть причина, подумал он.

«Прошлое окружало его, как лица в толпе. Среди них было одно, которое он знал, но чье это было лицо?» На мгновение, среди окружающих снегов, испытывая неловкость в компании грубияна-водителя лимузина, Хуан Диего забыл, что и это он тоже уже писал. Чертовы бета-блокаторы, подумал он.

Судя по всему, водитель лимузина был человеком хамоватым и злым, но он знал свой путь через Джемейку в Куинсе, где широкая дорога напоминала бывшему «читателю свалки» Периферико – улицу в Оахаке, разделенную железнодорожными путями. На Периферико *el jefe* обычно покупал для детей свалки пищевые продукты; на рынке Ля-Сентраль можно было купить самые дешевые, на грани срока годности. Только в 1968 году, во время студенческих бунтов, когда Ля-Сентраль был занят военными, продовольственный рынок переехал на Сокало в центре Оахаки.

В ту пору Хуану Диего и Лупе было соответственно двенадцать и одиннадцать лет, и они впервые познакомились с районом Оахаки вокруг Сокало. Студенческие бунты длились недолго; рынок вернется в Ля-Сентраль на Периферико (с этим жалкого вида пешеходным мостом над железнодорожными путями). Тем не менее Сокало осталась в сердцах детей свалки; она стала их любимой частью города. Дети проводили на Сокало, подальше от свалки, все свое свободное время.

Почему бы мальчику и девочке из Герреро не заинтересоваться центром городской жизни? Почему бы двум *niños de la basura* не поглазеть на туристов в городе? Городская свалка не значилась на туристических картах. Разве кому-нибудь из туристов пришло бы в голову

отправиться на экскурсию на *basurero*? Да от одной вони свалки и рези в глазах из-за нестихающих горений вы бы повернули обратно к Сокало; впрочем, для этого было бы достаточно и одного взгляда на собак свалки (или их взгляда на вас).

Разве удивительно, что примерно в эту же пору, во время студенческих беспорядков 1968 года, когда военные заняли Ля-Сентраль, а дети свалки начали болтаться в районе Сокало, Лупе, которой исполнилось всего одиннадцать лет, стала одержима этими ненормальными и спорными идеями по поводу различных Дев Оахаки? То, что ее брат был единственным, кто мог понять ее блекот, отсекало Лупе от любого вразумительного диалога со взрослыми. И конечно, это были религиозные Девы, чудотворные Девы – такие, которые оказывали влияние не только на одиннадцатилетних девочек.

Разве не было естественно, что Лупе прежде всего потянется к этим Девам? (Лупе умела читать мысли; она не знала, чтобы еще у кого-нибудь были такие же способности.) Тем не менее почему бы ребенку свалки не испытывать некоторое подозрение относительно чудес? Чем были заняты эти соперничающие между собой Девы, чтобы объявиться здесь и сейчас? Совершали ли в последнее время эти чудотворные Девы какие-нибудь чудеса? Не чересчур ли критично относилась Лупе к этим широко разрекламированным, но бездейственным Девам?

В Оахаке был магазин Дев; дети свалки обнаружили его во время одной из своих первых вылазок в район Сокало. Такова была Мексика – страну захватили испанские конкистадоры. Разве прозелиты Католической церкви не торговали столетиями Девой? Оахака была центром цивилизаций миштеков и сапотекков. Разве испанские конкистадоры на протяжении веков не продавали Дев коренному населению? Начиная с августинцев и доминиканцев и кончая третьими, иезуитами, разве они не втюхивали всем свою Деву Марию?

Теперь там оказался еще кое-кто, кроме Марии, как отметила Лупе после посещения многих церквей в Оахаке, – но нигде в городе не было такого соперничества Дев, как на пестрой выставке-продаже в магазине Дев на улице Индепенденсия. Там были Девы в натуральную величину и Девы больше натуральной величины. Достаточно назвать только трех, представленных по всему магазину в различных дешевых и аляповатых копиях: это, разумеется, Богоматерь Мария, а также Богоматерь Гваделупская и, естественно, *Nuestra Señora de la Soledad*, то есть Богоматерь Одиночества, которой Лупе пренебрегала как просто «героиней местного значения» – то есть сильно раскритикованной Девой Одиночества с ее «глупой историей про *burro*». (Ослик, маленький ослик, вероятно, был вне упреков.)

Магазин Дев также продавал в натуральную величину (и больше, чем в натуральную) копии распятого Христа; будь вы физически крепким человеком, то вполне могли бы отнести домой гигантского кровоточащего Иисуса... но основная цель магазина Дев, который функционировал в Оахаке с 1954 года, заключалась в том, чтобы обеспечивать проведение на Рождество праздничных мероприятий (*las posadas*).

На самом деле, только эти дети свалки называли торговую точку на Индепенденсия магазином Дев; вообще-то, он считался магазином для отмечания Рождества. «*La Niña de las Posadas*» – вот фактическое название этого непрезентабельного заведения (буквально «Девушка с постоянного двора»). Она и была той самой Девой, которую вы выбирали себе домой; разумеется, что от одной из продаваемых Дев в натуральную величину было явно больше веселья на вашей рождественской вечеринке, чем от агонизирующего Христа на кресте.

Притом что Лупе серьезно относилась к Девам Оахаки, она вместе с Хуаном Диего потешалась над этим заведением для рождественских вечеринок. «Девушка», как иногда называли дети свалки магазин Дев, была тем местом, куда они заходили посмеяться. Эти продаваемые Девы и наполовину не были столь реалистичны, сколь проститутки с улицы Сарагоса; девы-надом скорее относились к разряду надувных секс-кукол. А кровоточащие Иисусы были просто нелепы.

Существовала также (как сказал бы брат Пеппе) неофициальная иерархия Дев, выставленных в различных храмах Оахаки, – увы, эта неофициальная иерархия и эти Девы глубоко затронули Лупе. Католическая церковь имела свои собственные магазины Дев в Оахаке; для Лупе эти Девы не были поводом для смеха.

Взять хотя бы эту «глупую историю про *burro*» и то, с какой брезгливостью относилась Лупе к *La Virgen de la Soledad*. Базилика Богородицы Одиночества была грандиозной – это до безобразия помпезное сооружение находилось между Морелос и Индепенденсия, – и в первый раз, когда дети посетили ее, доступ к алтарю был перекрыт толпой паломников, устроивших кошачий концерт. Эти сельские жители (фермеры и сборщики фруктов, как догадывался Хуан Диего) не только молились, издавая вопли и крики, но демонстративно на коленях передвигались к сияющей статуе Богородицы Одиночества, чуть ли не ползком по всей длине центрального прохода. Молящиеся паломники оттолкнули Лупе, как это сделала и местная представительница Богородицы Одиночества – ее иногда называли «святой покровительницей Оахаки».

Если бы тут был брат Пеппе, то этот любезный учитель-иезуит мог бы указать Лупе и Хуану Диего на их собственные заблуждения относительно неофициальной иерархии: разве позволительно детям свалки чувствовать себя выше кого-то; в маленьком поселении в Герреро *los niños de la basura* считали себя выше сельских жителей. Поведение истошно молящихся паломников в базилике Одинокой Девы Марии и их несуразный внешний вид не оставили у Хуана Диего и Лупе никаких сомнений в том, что они, дети свалки, явно стояли выше этих вопящих коленапреклоненных фермеров и сборщиков фруктов (или кем еще они там были, эти неотесанные деревенщины).

Лупе также не нравилось, как была одета *La Virgen de la Soledad*; ее строгий, треугольной формы хитон был черным, с инкрустацией золотом.

– Она похожа на злую королеву, – сказала Лупе.

– Ты имеешь в виду, что она выглядит богачкой, – сказал Хуан Диего.

– Дева Одиночества не одна из нас, – заявила Лупе.

Она имела в виду – не из коренных жителей. Она имела в виду, что эта Дева – испанка, то есть европейка. (То есть белая.)

Дева Одиночества, по словам Лупе, была «бледнолицей тупицей в нарядном платье». Далее досаду Лупе вызывало то, что к Гваделупской Деве в базилике Богородицы Одиночества относились с меньшим почтением; ее святой образ был с левой стороны центрального прохода – всего лишь один неосвященный портрет темнокожей Девы (даже не статуя). А Богородица Гваделупская была коренной; она была местной, индианкой; она была той, кого Лупе подразумевала под «одной из нас».

Брат Пеппе был бы удивлен тем, как много прочел читатель свалки Хуан Диего и как внимательно слушала его Лупе. Отец Альфонсо и отец Октавио считали, что они очистили иезуитскую библиотеку от самых ненужных и крамольных текстов, но юный читатель со свалки спас много опасных книг от адских огней *basurero*.

Те труды, что были хрониками католической индоктринации коренного населения Мексики, не остались незамеченными; иезуиты сыграли свою интеллектуальную роль в испанских завоеваниях, и оба, Лупе и Хуан Диего, узнали много нового о иезуитах-конкистадорах Римско-католической церкви. Когда Хуан Диего, чтобы научиться читать, стал «читателем свалки», Лупе слушала и запоминала – с самого начала она была весьма прилежной ученицей.

В базилике Богородицы Одиночества была комната с мраморным полом и картинами, изображающими историю *burro*: крестьяне, встретив на дороге одинокого осла, который последовал за ними, принялись молиться. На спине у осла был длинный ящик, похожий на гроб.

«Почему у них не хватило ума заглянуть в ящик?» – всегда задавалась вопросом Лупе. Скорее, мозги этих глупцов просто лишились кислорода из-за их сомбреро. (По мнению детей свалки, эти неотесанные крестьяне были тупицами.)

Имел место так пока и не завершённый спор о том, что случилось с *burro*. Остановился ли он однажды и просто лег или упал замертво? На месте, где маленький ослик либо остановился на своем пути, либо просто сдох, была возведена базилика Богоматери Одиночества. Потому что только тогда и в том самом месте тупые крестьяне открыли ящик. В нем была статуя Богоматери Одиночества; но их насторожила фигура Иисуса, гораздо меньшего размера, на коленях Богоматери Одиночества – Иисус был обнажен, за исключением промежности, прикрытой тряпицей.

«Что там делает этот скукоженный Иисус?» – постоянно спрашивала Лупе. Больше всего настораживало расхождение в размерах фигур: Пресвятая Дева Одиночества была вдвое больше Иисуса. И это был не младенец Иисус, это был Иисус с бородой, только неестественно маленький и прикрытый лишь тряпицей.

По мнению Лупе, *burro* «оскорбили»; более крупная Богоматерь Одиночества с маленьким полуобнаженным Иисусом на коленях означала для Лупе «еще большее оскорбление», не говоря уже о тупости крестьян, которым не хватило мозгов, чтобы заглянуть для начала в ящик.

Таким образом, дети свалки отвергли святую покровительницу Оахаки и самую заморочистую Деву как мистификацию или надувательство – эту «сектантку», как назвала Лупе *La Virgen de la Soledad*. А что касается соседства магазина Дев на Индепенденсия с базиликой Богоматери Одиночества, единственное, что Лупе сказала на эту тему, было «они друг друга стоят».

Лупе выслушала много (пусть не всегда хорошо написанных) книг для взрослых; ее речь, возможно, была непонятна для всех, кроме Хуана Диего, но благодаря специфике книг с *basurero* лексика Лупе была как у образованного человека и ничуть не соответствовала ни возрасту, ни жизненному опыту этой девочки.

В отличие от своего отношения к базилике Богоматери Одиночества, Лупе называла Доминиканскую церковь на Адкала «прекрасной экстравагантностью». Осуждая позолоченное одеяние Богоматери Одиночества, Лупе восхищалась золоченым потолком в *Templo de Santo Domingo*, то есть в храме Святого Доминика; ее абсолютно устраивало «это очень испанское барокко» в храме Санто-Доминго – «очень европейское». И Лупе нравился также инкрустированный золотом алтарь при Гваделупской Богоматери – притом что Дева Мария в Санто-Доминго не затмевала ее.

Считающая себя гваделупской девочкой, Лупе была чувствительна к тому, что Гваделупскую Богородицу затмевала эта «Мария-монстр». Лупе имела в виду не только то, что Мария завладела главным местом в «обойме» Дев Католической церкви; Лупе считала, что Дева Мария и сама была «Девой-властительницей».

И огорчало Лупе то, что этот иезуитский *Templo de la Compañía de Jesús* на углу Магон и Трухано, то есть храм Общества Иисуса, сделал Деву Марию своей главной достопримечательностью. Когда вы входите, ваше внимание привлекают фонтан со святой водой – *agua de San Ignacio de Loyola* – и портрет грозного святого, самого Игнатия (согласно традиции, Лойола взирал на Небеса в ожидания наставления).

В укромном уголке, после того как вы миновали фонтан со святой водой, находился скромный, но привлекательный киот Девы Гваделупской; особое внимание было там уделено наиболее известным высказываниям темнолицой Девы, надписи крупными буквами легко читались, если вы сидели на скамье или преклоняли колени на подставке.

«¿No estoy aquí, que soy tu madre? – молилась там Лупе, постоянно повторяя эту фразу. – Разве я не здесь, поелику я Матерь твоя?»

Да, можно сказать, что Лупе испытывала неестественную привязанность к Богоматери и к образу Девы, заменявшей Лупе настоящую мать, которая была проституткой (и уборщицей у иезуитов), – та женщина не очень-то походила на мать своих детей, она была матерью в отлучке, проживающей где-то там, отдельно от Лупе и Хуана Диего. И Эсперанса оставила

Лупе без отца, если не принимать во внимание исполняющего его роль хозяина свалки, а также убеждение Лупе, что у нее множество отцов.

Но Лупе искренне поклонялась Пресвятой Деве Гваделупской и до отчаяния сомневалась в ней; сомнение Лупе было вызвано ее детским подозрением, что Дева Гваделупская подчинилась Деве Марии – что она по стовору позволила Богоматери Марии управлять собой.

Хуан Диего не мог вспомнить ни одной прочитанной вслух свалочной книги, которая навела бы Лупе на такую мысль; насколько мог судить читатель свалки, Лупе исключительно по собственной инициативе и верила темнолицой Деве, и сомневалась в ней. По этому мучительному пути сознание слушательницы отправилось без книжных подсказок.

И, несмотря на достойное, отмеченное хорошим вкусом почитание Богоматери Гваделупской (храм иезуитов никоим образом не пренебрегал темнолицой Девой), все же именно Дева Мария занимала в нем центральное место. Дева Мария подавляла. Она была огромна, для нее был возведен алтарь, перед ним высилась статуя Пресвятой Богородицы. Сравнительно маленький Иисус, уже претерпевший страдания на кресте, лежал, истекая кровью, у больших ступней Богоматери Марии.

– Что тут делает этот скукоженный Иисус? – спрашивала всегда Лупе.

– По крайней мере, на этом Иисусе хоть какая-то одежда, – говорил обычно Хуан Диего.

На трехъярусном постаменте, на который твердо опирались большие ступни Девы Марии, были изображены застывшие в облаках лица ангелов. (По непонятной причине постамент состоял из облаков и ангельских ликов.)

– Что это значит? – всегда спрашивала Лупе. – Дева Мария топчет ангелов... Вполне могу в это поверить!

А по обе стороны от гигантской Пресвятой Богородицы стояли значительно меньшего размера, потемневшие от времени статуи двух чуть ли не незнакомцев – родителей Девы Марии.

– У нее были родители? – спрашивала всегда Лупе. – Разве известно, как они выглядели? Кому это интересно?

Без сомнения, громоздящаяся над всеми статуя Девы Марии в иезуитском храме была Марией-монстром. Мать детей свалки жаловалась на трудности, которые она испытывала, чтобы протирать гигантскую Деву. Лестница была слишком высокой; ее не к чему было надежно или «правильно» прислонить, кроме как к самой Деве Марии. И Эсперанса бесконечно молилась Марии; лучшая уборщица у иезуитов, работающая по ночам на улице Саргоса, была несомненной почитательницей Девы Марии.

Большие букеты цветов – числом семь! – окружали алтарь Богоматери Марии, но даже эти букеты выглядели крошечными рядом с гигантской Девой. Она не просто громоздилась – она, казалось, угрожала всем и вся. Даже Эсперанса, которая обожала ее, считала статую Девы Марии «слишком большой».

«Потому она и властительница», – повторяла Лупе.

– ¿No estoy aquí, que soy tu madre? – повторил Хуан Диего с заднего сиденья окруженного снегами лимузина, который теперь приближался к терминалу «Катай-Пасифик» в аэропорту Кеннеди.

Бывший читатель свалки пробормотал вслух, на испанском и английском языках, смиренное высказывание Божией Матери Гваделупской – более смиренное, чем пронзительный взгляд этой самоуверенной великанши, иезуитской статуи Девы Марии. «Разве я не здесь, поелику я Мать твоя?» – повторил про себя Хуан Диего.

Двуязычное бормотание пассажира заставило гневливого водителя лимузина глянуть на Хуана Диего в зеркало заднего вида.

Жаль, что Лупе не была рядом со своим братом; она бы прочитала мысли водителя лимузина – она могла бы сказать Хуану Диего, о чем подумал этот злопыхатель.

А водитель лимузина уже вынес оценку своему пассажиру, этому выскочке-американцу мексиканской крови.

– Мы почти у твоего терминала, приятель, – сказал водитель: слово «сэр» он до того произносил с тем же пренебрежением.

Но Хуан Диего в этот момент вспоминал Лупе и время, проведенное ими в Оахаке. Читатель свалки пребывал в своих мечтах; он действительно не уловил пренебрежительного тона в голосе водителя. И без своей дорогой сестры рядом с ним, читающей чужие мысли, Хуан Диего не знал, о чем думает этот ксенофоб.

Дело не в том, что Хуан Диего никогда не сталкивался в Америке с расовой проблемой. Речь скорее шла о том, что подчас мысли его были где-то далеко – где-то в другом месте.

3

Мать и дочь

Этот человек «с ограниченными возможностями» не предполагал, что застрянет в аэропорту Кеннеди на двадцать семь часов. «Катай-Пасифик» отправила его в элитный зал ожидания «Британских авиалиний». У пассажиров экономкласса не было таких удобств – в буфетах закончилась еда, а общественные уборные использовались не так, как следует, – но рейс «Катай-Пасифик» в Гонконг, намеченный по графику на 9:15 утра 27 декабря, был отложен до полудня следующего дня, а Хуан Диего упаковал бета-блокаторы вместе с туалетными принадлежностями в сумку, которую сдал в багаж. Перелет в Гонконг занимал около шестнадцати часов. Хуану Диего предстояло обойтись без лекарств более сорока трех часов; то есть он почти на двое суток оставался без бета-блокаторов. (Как правило, дети свалки не паникуют.)

Поразмыслив, стоит ли звонить Розмари и проконсультироваться, насколько опасно ему оставаться без лекарств на такое время, Хуан Диего не стал этого делать. Он вспомнил, как доктор Штайн сказала: если ему по какой-либо причине придется когда-нибудь отказаться от бета-блокаторов, он должен прекратить их прием постепенно. (Необъяснимым образом слово «постепенно» привело его к мысли, что нет никакого риска в прекращении или возобновлении приема бета-блокаторов.)

Сидя в зале ожидания «Британских авиалиний» аэропорта имени Кеннеди, Хуан Диего знал, что ему не удастся поспать; он с нетерпением ждал возможности выспаться, когда в конце концов сядет на свой рейс, чтобы выспаться за шестнадцать часов полета в Гонконг. Хуан Диего не позвонил доктору Штайн, поскольку хотел побыть без бета-блокаторов. Если повезет, ему может присниться один из его старых снов; он надеялся, что к нему могут вернуться все его важные детские воспоминания – причем в хронологическом порядке. (Как писатель, он был слегка помешан на этой несколько вышедшей из моды хронологии.)

«Британские авиалинии» сделали все возможное, чтобы этому калеке было комфортно; по деформированной обуви на его поврежденной ноге прочие пассажиры первого класса догадывались, что Хуан Диего инвалид. Все проявляли исключительное понимание; хотя стульев для застывших в зале первого класса не хватало, никто не жаловался, что Хуан Диего занял аж целых два, устроив из них нечто вроде кушетки, на которую он мог водрузить свою несчастную ногу.

Да, из-за хромоты Хуан Диего выглядел старше своих лет – по меньшей мере на шестьдесят четыре, а не на пятьдесят четыре года. И было еще кое-что: выражение явного смирения на лице придавало ему безучастный вид, как будто львиная доля переживаний в жизни Хуана Диего пришлась на его далекое детство и раннюю юность. В конце концов, он пережил всех, кого любил, – очевидно, это его и состарило.

Его волосы все еще были черными; только стоя рядом с ним и внимательно приглядевшись, можно было заметить рассыпанные в них нити седины. Он не терял волос, не лысел – волосы были длинными, что делало его похожим одновременно на бунтаря-подростка и на стареющего хиппи, то есть на того, кто был нарочито немоден. Его темно-карие глаза были почти такими же черными, как волосы; он все еще был красивым и стройным, но производил впечатление «устаревшего». Женщины – особенно те, кто помоложе, – предлагали ему помощь, в которой он не очень-то и нуждался.

Он был помечен аурой судьбы. Двигался медленно; часто казался потерявшимся в своих мыслях или в своем воображении – как будто его будущее было predeterminedено и он не сопротивлялся этому.

Хуан Диего считал себя не настолько знаменитым писателем, чтобы его узнавало большинство читателей, а незнакомые с его книгами и подавно его не знали. Хуана Диего замечали только те, кого можно было назвать его завзятыми фанатами. В основном это были женщины – пожилые женщины, разумеется, но среди пылких его поклонниц было и немало девушек из колледжей.

Хуан Диего не верил, что женщин привлекают темы его романов; он просто говорил, что именно женщины, а не мужчины – самые ревностные читатели художественной литературы. Он не предлагал никакой теории на этот счет; он лишь утверждал, что так оно и есть.

Хуан Диего не был теоретиком; он был не силен в праздномыслии. Он и стал в какой-то мере известен после своих слов, сказанных в интервью одному журналисту, когда тот попросил его порассуждать на конкретную довольно избитую тему.

– Я не рассуждаю, – сказал Хуан Диего. – Я просто наблюдаю, я только описываю.

Естественно, журналист – настырный молодой человек – настаивал на своем. Журналисты любят порассуждать; они всегда спрашивают романистов, умирает ли роман или уже мертв. Помните: первые романы, которые он прочел, Хуан Диего вызволял из адского пламени *basurero*; он обжег руки, спасая книги. «Читателя свалки» не спрашивают, мертв уже роман или умирает.

– У вас есть какие-нибудь знакомые женщины? – спросил Хуан Диего этого молодого человека. – Я имею в виду женщин, которые читают, – сказал он, повышая голос. – Поговорите с такими женщинами – спросите, что они читают! – В этот момент Хуан Диего уже разошелся вовсю. – День, когда женщины перестанут читать, будет днем смерти романа! – кричал «читатель свалки».

У писателей с хоть какой-то аудиторией больше читателей, чем они полагают. Хуан Диего был более известен, чем он думал.

На сей раз его заприметили две женщины, мать и дочь, – по примеру его самых страстных читателей.

– Я бы везде вас узнала. Вы не спрячетесь от меня, даже и не пытайтесь, – сказала Хуану Диего довольно агрессивная мать.

Она говорила с ним так, как будто он и в самом деле пытался спрятаться. И где же он видел раньше такой пронизывающий взгляд? Без сомнения, у громоздящейся над всеми внушительнейшей статуи Девы Марии – это у нее был такой взгляд. Именно подобным образом Пресвятая Дева свысока смотрела на вас, но Хуан Диего никогда не мог сказать, был ли взгляд Матери Марии сострадающим или неумолимым. (В случае с этой элегантною матерью, которая была одной из его читательниц, он также не имел определенного мнения на сей счет.)

Что касается дочери, которая также была его поклонницей, Хуан Диего подумал, что она считается несколько легче.

– Я бы и в темноте вас узнала. Если бы вы заговорили со мной, я бы по нескольким словам догадалась, что это вы, – слишком уж искренно сказала ему дочь. – По вашему голосу, – произнесла она, задрожав, как будто не в силах продолжать.

Она была молода и пафосна, но довольно деревенского кроя; с толстыми запястьями и лодыжками, с дюжими бедрами и низко подвешенной грудью. Ее кожа была темнее, чем у матери; черты ее лица были более расплывчатыми, менее утонченными, особенно это касалось ее манеры говорить, – короче, она была попроще и поглубже.

Хуан Диего представил себе, что сказала бы о ней его сестра: «Она как одна из нас». (Внешне она, скорее, из коренных жителей, подумала бы Лупе.)

Хуан Диего разволновался, представив вдруг, какие разодетые в пух и прах копии статуй мог бы изготовить магазин Дев в Оахаке из этой парочки – матери и дочери. Это заведение

для рождественских празднеств могло бы еще больше порастрепать наряд дочери. Но действительно ли она была одета несколько неряшливо, или же это была намеренная небрежность?

Хуан Диего подумал, что магазин Дев мог бы придать фривольную позу манекену дочери в натуральную величину, добавить броскости, как если бы мощь ее бедер таила в себе неудержимый вызов. (Или это были фантазии Хуана Диего насчет дочери?)

Магазин Дев, который дети свалки иногда называли между собой «Девница», не смог бы сотворить манекен, соответствующий матери из данной парочки. Мать была преисполнена утонченности и самоуверенности, и ее красота была классической; мать излучала высокий стиль и чувство собственного превосходства – будто она и родилась в ауре привилегированности. Если бы эта мать, которая только на мгновение задержалась в салоне первого класса аэропорта имени Кеннеди, была Девой Марией, никто бы не отправил ее в хлев; ей бы нашли место в гостинице. Вульгарный магазин на Индепенденсия не мог по определению воспроизвести ее; у этой матери был иммунитет против стереотипов – даже секс-куклу не смог бы изготовить из нее магазин «Девница». Мать была скорее «единственной в своем роде», чем «одной из нас». В магазине для рождественских мероприятий этой матери не было места, решил Хуан Диего; она никогда не будет выставлена на продажу. И вам не захочется принести ее домой – по крайней мере, на потребу своих гостей или для развлечения детей. Нет, подумал Хуан Диего, вы захотите оставить ее себе.

Так или иначе, хотя он не сказал ни слова о своих чувствах к этой матери и ее дочери, обе женщины, казалось, знали о Хуане Диего все. И мать, и дочь, несмотря на очевидные различия между ними, действовали заодно, они были командой. Они быстро подключились к ситуации, которая, по их мнению, свидетельствовала о полной беспомощности Хуана Диего в настоящий момент, если не вообще. Хуан Диего устал, он без колебаний винил в этом бета-блокаторы. Он не очень-то сопротивлялся. В принципе, он позволил этим женщинам позаботиться о нем. К тому же это произошло после того, как они двадцать четыре часа прождали в салоне первого класса «Британских авиалиний».

Коллеги Хуана Диего, все его близкие друзья, из лучших побуждений запланировали для него двухдневную остановку в Гонконге; теперь же получалось, что у него будет только одна ночь в Гонконге, прежде чем ему придется рано утром отправиться в Манилу.

– Где вы останавливаетесь в Гонконге? – спросила его мать, которую звали Мириам. Она не ходила вокруг да около; при своем пронизательном взгляде, она была прямолинейна.

– Где вы раньше останавливались? – спросила дочь, которую звали Дороти.

Она мало что взяла от матери, отметил Хуан Диего; Дороти была так же напориста, как Мириам, но далеко не так красива.

Что же такое было в Хуане Диего, что заставляло более напористых людей испытывать потребность в проворачивании для него его же дел? Кларк Френч, бывший студент, включился в подготовку поездки Хуана Диего на Филиппины. Теперь вот две женщины – две незнакомки – взяли на себя заботу устроить писателя в Гонконге.

Должно быть, Хуан Диего выглядел в глазах матери и ее дочери как начинающий турист, поскольку ему надо было заглянуть в памятку, чтобы узнать название своего отеля в Гонконге. Пока он еще выуживал из кармана пиджака очки, мать выхватила у него из рук памятку.

– Господи – зачем вам в Гонконге «Интерконтиненталь-Гранд-Стэнфорд»? – сказала ему Мириам. – Это же час езды от аэропорта.

– На самом деле это в Коулуне, – уточнила Дороти.

– В аэропорту есть адекватный отель, – сказала Мириам. – Вам лучше остановиться там.

– Мы всегда там останавливаемся, – со вздохом произнесла Дороти.

Хуан Диего начал говорить, что, насколько он понимает, тогда ему нужно будет отменить одно бронирование и заказать другое.

– Сделаем, – сказала дочь; ее пальцы запрыгали над клавиатурой ноутбука.

Хуану Диего казалось каким-то чудом то, как молодые люди пользовались своими ноутбуками, никуда их не включая. Почему у них батарейки не садятся? – думал он. (А когда они не были приклеены к своим ноутбукам, то как сумасшедшие переписывались на своих мобильных телефонах, которые, казалось, никогда не нуждались в подзарядке!)

– Я думал, что слишком далеко еду, чтобы брать с собой ноутбук, – сказал Хуан Диего этой матери, которая смотрела на него с крайней степенью сочувствия. – Я оставил свой дома, – робко сказал он энергичной дочери, которая ни разу не оторвала взгляда от постоянно меняющейся картинки на экране компьютера.

– Я отменяю ваш номер с видом на гавань – две ночи в «Интерконтиненталь-Гранд-Стэнфорд», конец. Мне все равно не нравится это место, – сообщила Дороти. – И я заказываю вам номер люкс в отеле «Регал»⁶ в Международном аэропорту Гонконг. Он не такой безвкусный, как его название, несмотря на все это рождественское дерьмо.

– Одна ночь, Дороти, – напомнила мать молодой женщине.

– Понятно, – сказала Дороти. – В «Регале» есть одна особенность: там странно включается и выключается свет, – обратилась она к Хуану Диего.

– Мы покажем ему, Дороти, – сказала Мириам. – Я прочитала все, что вы написали, до последнего слова. – Она положила руку ему на запястье.

– Я прочитала почти все, – сказала Дороти.

– Есть две книги, которые ты не читала, Дороти, – возразила ее матушка.

– Подумаешь, две, – сказала Дороти. – Это ведь почти все, не так ли? – спросила девушка Хуана Диего.

Он, конечно, ответил:

– Да, почти.

Он не мог понять, флиртует с ним эта молодая женщина или ее мать; может быть, ни та ни другая и не флиртовали вовсе. И непонимание этого говорило, что Хуан Диего преждевременно постарел, но, если честно, сколько лет прошло с тех пор, как он играл в подобные игры. Уже довольно давно он ни с кем не встречался, да и прежде таких встреч было не много, что сразу же стало ясно таким двум завзятым путешественницам, как эти мать и дочь.

Что касается женщин, не решили ли они, что он получил свое увечье на войне? Не был ли он одним из тех, кто потерял любовь всей своей жизни? Что заставляло женщин думать, будто Хуан Диего никогда не сможет забыть кого-то?

– Мне очень нравится секс в ваших романах, – заметила Дороти. – Мне нравится, как вы это делаете.

– Мне еще больше нравится, – сказала ему Мириам, окинув дочь всепонимающим взглядом. – У меня есть возможность узнать, что такое действительно плохой секс, – заявила она своей дочурке.

– Пожалуйста, мама, только без подробностей, – сказала Дороти.

У Мириам не было обручального кольца, заметил Хуан Диего. Это была высокая, подтянутая женщина, с выражением напряженного нетерпения в глазах, в жемчужно-сером брючном костюме, который она носила поверх серебристой рубашки с коротким рукавом. Ее светлорусые волосы, конечно же, не были натурального цвета, и, вероятно, она уже вносила легкие поправки в свое лицо – либо вскоре после развода, либо спустя какое-то время после того, как овдовела. (Хуан Диего не знал о таких интимных вещах; за исключением его читательниц и женских персонажей в его романах, у него не было опыта общения с такими женщинами, как Мириам.)

⁶ Regal (англ.) – королевский.

Дороти, дочь, сказавшая, что впервые прочитала один из романов Хуана Диего, когда он был «адресован» ей – еще в колледже, – выглядела так, как будто все еще была студенческого возраста или чуть старше.

Эти женщины направлялись не в Манилу («Пока не туда», – сказали они ему), но, даже если они и сообщили, куда собирались после Гонконга, Хуан Диего этого не запомнил. Мириам не назвала ему своей фамилии, но у нее был европейский акцент. Иностранка, отметил про нее Хуан Диего. Но, конечно же, он не был экспертом по акцентам – Мириам могла быть и американкой.

Что касается Дороти, ей было далеко до красоты матери, но у девушки была угрюмая, неброская привлекательность – такая, которую эта явно тяжеловатая молодая женщина могла утратить через несколько лет. («Сладострастная» – это слово не всегда будет приходиться на ум при виде Дороти, подумал Хуан Диего, сознавая, хотя бы для себя, что он писал именно о таких предприимчивых женщинах, даже если и позволял им помогать ему.)

Кем бы они ни были и куда бы они ни летели, эти мать и дочь были занятыми путешественницами первым классом на «Катай-Пасифик». Когда самолет рейса 841 до Гонконга наконец заполнился пассажирами, Мириам и Дороти не позволили кукольнолицей стюардессе показать Хуану Диего, как надевать цельнокроеную пижаму от «Катай-Пасифик» и как управлять похожей на кокон спальной капсулой. Мириам помогла ему справиться с проблемой надевания этой детского фасона пижамы, а Дороти – дока по части техники в семье без мужчины – продемонстрировала механику самой удобной кровати, с какой только Хуан Диего сталкивался когда-либо в самолете. Обе женщины практически уложили его спать.

Наверное, они обе флиртовали со мной, засыпая, подумал Хуан Диего, дочь-то – без сомнений. Конечно, Дороти напоминала Хуану Диего студенток, которых он встречал на протяжении долгих лет; многие из них, понятно, только делали вид, что флиртуют с ним. Это были молодые женщины того же возраста – некоторые из них, писательницы-одиночки с хулиганскими замашками, поражали его лишь двумя известными им видами общения: умением флиртовать и умением выказывать безоговорочное презрение.

Хуан Диего уже почти спал, когда вспомнил, что у него незапланированный перерыв в приеме бета-блокаторов; он уже начал видеть сон, когда ему, пусть и ненадолго, пришла в голову отчасти тревожная мысль. Мысль была такой: я не очень понимаю, что происходит, когда временно перестаешь принимать бета-блокаторы. Но сон (или воспоминание) достигал его, и он позволил ему прийти.

4

Разбитое боковое зеркало заднего вида

Там был геккон. Он сжался от первых лучей солнца, цепляясь за проволочную сетку на двери лачуги. Не успел еще мальчик коснуться сетки, как в мгновение ока, за долю секунды, равной щелчку выключателя, геккон исчез. Сон Хуана Диего часто начинался с исчезновения геккона, подобно тому как многие утра мальчика из Герреро начинались с исчезновения этой ящерицы.

Ривера построил лачугу для себя, но переделал ее внутри для детей. Хотя он, скорее всего, не был отцом Хуана Диего и определенно – не был отцом Лупе, у *el jefe* была договоренность с их матерью. Даже в свои четырнадцать лет Хуан Диего знал, что договоренность между ними не имела большого значения. Эсперанса, несмотря на то что она была названа Надеждой, никогда не была источником надежды для своих собственных детей, и она никогда не угождала Ривере, насколько это было видно Хуану Диего. Трудно сказать, что четырнадцатилетний мальчик обязательно заметил бы такие вещи, да и тринадцатилетняя Лупе едва ли была серьезным свидетелем того, что могло иметь место между ее матерью и хозяином свалки.

Что касается «положительного» Риверы, то он был единственным человеком, на чью заботу об этих двух детях свалки можно было рассчитывать. Ривера и предоставил кров Хуану Диего и Лупе, обеспечив их не только жильем.

Когда *el jefe* Ривера отправлялся вечером к себе домой или куда бы то ни было, он оставлял свой грузовик и свою собаку Хуану Диего. В случае чего грузовик являлся для детей свалки вторым убежищем, – в отличие от лачуги, кабину грузовика можно было запереть, и никто, кроме Хуана Диего или Лупе, не смел приблизиться к собаке Риверы. Даже хозяин свалки с опаской относился к этому как бы оголодавшему с виду псу, помеси терьера и гончей.

По словам *el jefe*, пес был полупитбулем-полуищейкой, – следовательно, он был предрасположен сражаться и выслеживать добычу по запаху.

– Дьябло биологически склонен к агрессии, – сказал Ривера.

– Я думаю, ты имеешь в виду, что он генетически склонен, – поправил его Хуан Диего.

Трудно оценить степень образованности ребенка свалки, усвоившего такой исключительный словарный запас; если не считать лестного внимания, проявляемого со стороны брата Пепе в иезуитской миссии в Оахаке к мальчику, который не ходит в школу, Хуан Диего не получил никакого образования, но мальчику удалось сделать больше, чем научиться читать. Он также чрезвычайно хорошо выражал свои мысли. Ребенок свалки даже говорил по-английски, хотя разговорный язык он слышал разве что от приезжих американцев. В Оахаке в то время экспатрианты из Америки представляли собой тех, кто мастерил на продажу поделки-сувениры, и обычных наркоманов. По мере того как Вьетнамская война затягивалась – в минувшем 1968 году Никсон, избранный президентом, обещал положить ей конец, – продолжало расти число потерянных душ («ищущих себя молодых людей», как называл их брат Пепе), то есть тех, кто в основном косил от армии.

Хуан Диего и Лупе едва ли общались с наркоманами. Грибные хиппи были слишком заняты расширением своего сознания с помощью галлюциногенов; они не тратили свое время на болтовню с детьми. Мескальные хиппи – пусть только когда они были трезвыми – любили поболтать с детьми свалки, и иногда среди них даже попадались читатели, хотя мескаль плохо влиял на память этих читателей. Довольно многие из косящих от призыва в армию были читателями; они давали Хуану Диего свои книги в мягкой обложке. Конечно, это были в основном американские романы; благодаря им Хуан Диего представлял тамошнюю жизнь.

И только через несколько секунд после того, как заутренний геккон исчез, за спиной Хуана Диего захлопнулась дверь лачуги, с капота грузовика Риверы взлетела ворона и залаяли все собаки Герреро. Мальчик наблюдал за полетом вороны – любой полет завораживал его, – в то время как Диабло, встав на безбортовом кузове пикапа Риверы, начал свое ужасное рывканье, от которого замолкали все другие собаки. Своим лаем Диабло, страшный пес Риверы, был обязан гену ищейки; бойцовый ген питбуля, представлявшего вторую половину Диабло, отвечал за отсутствующее верхнее веко налитого кровью и постоянно открытого левого глаза. Розоватый шрам, там, где было веко, придавал взгляду Диабло особую зловещесть. (Последствия собачьей схватки или чей-то нож; хозяин свалки не был свидетелем того случая, в котором участвовали то ли человек, то ли животное.)

Что касается зазубренного треугольного кусочка, едва ли удаленного из длинного уха собаки каким-нибудь ветеринаром, то, в общем, можно было догадаться, чьих это рук дело.

– Это ты сделала, Лупе, – сказал Ривера, улыбаясь девочке. – Диабло позволяет тебе делать с ним что угодно, даже кусать его ухо.

Лупе сложила идеальный треугольник из своих указательных и больших пальцев. То, что она сказала, как всегда, требовало перевода Хуана Диего, иначе Ривера не понял бы ее.

– Ни у животных, ни у людей нет зубов для такого укуса, – совершенно недвусмысленно сказала девочка.

Los niños de la basura не знали, когда (или откуда) каждое утро появлялся на *basurero* Ривера и каким образом *el jefe* спускался в Герреро по холму со стороны свалки. Хозяин свалки обычно оказывался дремлющим в кабине своего грузовика; его будил либо резкий, как пистолетный выстрел, хлопок закрывающейся двери с сеткой, либо собачий лай. Или его будило гавканье Диабло спустя полсекунды после исчезновения геккона или за столько же перед его появлением, так что почти никто не видел этого геккона.

– *Buenos días, jefe*, – обычно говорил Хуан Диего.

– Хороший день для добрых дел, *amigo*⁷, – часто отвечал Ривера мальчику. Затем хозяин свалки добавлял: – А где гениальная принцесса?

– Я там, где всегда, – отвечала ему Лупе, с хлопком закрывая за собой дверь.

Этот второй пистолетный выстрел достигал адских огней *basurero*. В небо поднималось еще больше ворон. Раздавалась какофония лая; это начинали лаять собаки свалки и собаки Герреро. Затем следовал грозный и всеподавляющий рев Диабло, чей мокрый нос утыкался в голое колено мальчика, надевшего изодранные шорты.

Костры свалки уже давно горели – тлеющие груды слежавшегося, а также перебранного вручную мусора. Должно быть, Ривера разжигал костры с первыми лучами солнца, а потом дремал в кабине своего грузовика.

Basurero Оахаки была горящей пустошью; и рядом с ней, и издалека из Герреро можно было наблюдать высоко поднимающиеся в небо столбы дыма от огней. Выходя из двери, Хуан Диего уже ощущал резь в глазах. Недремлющий глаз Диабло всегда сочился слезой, даже когда пес спал – с открытым, но не видящим левым глазом.

Тем утром Ривера нашел еще один водяной пистолет на *basurero*; он бросил игрушку в кузов пикапа, где Диабло немного полизал ее, прежде чем оставить в покое.

– Я нашел для тебя один! – сказал Ривера Лупе, которая ела кукурузную лепешку с вареньем; на подбородке и щеке у нее было варенье, и Лупе, позволив Диабло облизать ей лицо, отдала псу оставшийся кусок тортильи.

На дороге два стервятника горбатились над мертвой собакой, и еще два кружили в небе над головой, опускаясь по спирали. Обычно на *basurero* каждое утро обнаруживалась по край-

⁷ Друг (*исп.*).

ней мере одна мертвая собака. Если стервятники не находили ее или если падальщики быстро не расправлялись с нею, кто-нибудь бросал собаку в огонь. Там всегда что-нибудь горело.

В Герреро к мертвым собакам относились иначе. У этих собак, вероятно, были хозяева; нельзя было сжигать чужую собаку; кроме того, в Герреро были правила разведения огня. (Жильцы понимали, что такое маленькое поселение может запросто сгореть.) Мертвую собаку в Герреро не трогали – она обычно долго не лежала. Если у мертвой собаки был владелец, он сам избавлялся от нее или же в конечном итоге этим занимались падальщики.

– Я не знала эту собаку, а ты знал? – сказала Лупе Диабло, осматривая найденный *el jefe* водяной пистолет.

Лупе имела в виду мертвую собаку на дороге, которая привлекла внимание двух стервятников, но Диабло ничем не дал понять, знал он ту собаку или нет.

Дети свалки могли бы сказать, что это был день меди. У *el jefe* в кузове пикапа лежала куча меди. Рядом с аэропортом находился завод по переработке меди, в том же районе был еще один завод, который принимал алюминий.

– По крайней мере, сегодня не день стекла – я не люблю дни стекла, – сказала Лупе Диабло, или же она просто разговаривала сама с собой.

Когда рядом был Диабло, со стороны Грязно-Белого не раздавалось никакого рычания – ни даже трусливого повизгивания, отметил Хуан Диего.

– Он вовсе не трус! Он просто щенок! – крикнула Лупе брату.

Затем она продолжила бормотать (себе самой) что-то о марке водяного пистолета, который Ривера нашел на *basurero*, – что-то про «слабый механизм брызгалки».

Хозяин свалки и Хуан Диего проводили взглядом Лупе, побежавшую к лачуге; без сомнения, ей надо было пополнить новообретенным водяным пистолетом свою коллекцию.

Поодаль от лачуги *el jefe* проверял баллон с пропаном; он всегда проверял его на предмет утечки, но сегодня утром его интересовало, сколько еще там пропана. Ривера определял это по весу, просто приподнимая баллон.

Хуан Диего часто задавался вопросом, на каком основании хозяин свалки решил, что он, скорее всего, не отец мальчика. Это верно, что внешне между ними не было ничего общего, но, как и Лупе, Хуан Диего был настолько похож на свою мать, что едва ли в таком случае можно было быть похожим еще на кого-то.

– Просто надеюсь, что ты похож на Риверу в его доброте, – сказал брат Пепе Хуану Диего во время доставки той или иной охапки книг. (Хуан Диего выуживал у Пепе все, что тот, возможно, знал или слышал о наиболее вероятном отце мальчика.)

Всякий раз, когда Хуан Диего спрашивал *el jefe*, почему тот относил себя лишь к возможным отцам, хозяин свалки всегда улыбался и говорил, что он, «возможно, недостаточно умен», чтобы быть папой «читателя свалки».

Хуан Диего, наблюдая, как Ривера поднимает пропановый бак (полный бак был очень тяжелым), вдруг произнес:

– Когда-нибудь, *jefe*, я буду таким сильным, что смогу поднять бак с пропаном – даже полный. – (Только так, обиняками, читатель свалки мог поведать Ривере, как ему хотелось надеяться, что хозяин свалки – его отец.)

– Нам надо ехать, – это все, что сказал Ривера, забираясь в кабину своего грузовика.

– Ты до сих пор не починил боковое зеркало заднего вида, – сказал Хуан Диего.

Лупе что-то бубнила, подбегая к грузовику, за ее спиной захлопнулась дверь лачуги. Звук пистолетного выстрела, изданный закрывшейся дверью, не произвел никакого впечатления на стервятников, горбатившихся на дороге над мертвой собакой; теперь за работой было четыре стервятника, и ни один из них даже не вздрогнул.

Ривера уже не дразнил Лупе скабрзными шутками насчет водяных пистолетов. Однажды Ривера сказал: «Вы, дети, так помешаны на этих брызгалках, что люди могут подумать, будто вы практикуете искусственное оплодотворение».

Эта фраза уже давно имела хождение в медицинских кругах, но дети свалки впервые узнали о ней из научно-фантастического романа, спасенного от огня. Лупе восприняла ее с отвращением. Услышав об искусственном оплодотворении, она вспыхнула от подросткового возмущения и гнева; в ту пору ей было одиннадцать или двенадцать лет.

– Лупе говорит, она знает, что такое искусственное оплодотворение, и она думает, что это гадость, – перевел Хуан Диего слова сестры.

– Лупе не знает, что такое искусственное оплодотворение, – возразил хозяин свалки, однако с тревогой посмотрел на возмущенную девочку.

Кто знает, что ей мог прочесть читатель свалки? – подумал *el jefe*. Даже будучи маленькой девочкой, Лупе была решительно против всего неприличного или непристойного, хотя и отмечала последнее своим вниманием.

На сей раз Лупе возмутилась еще больше обычного (пусть и в непонятной форме).

– Нет, она знает, – сказал Хуан Диего. – Хотите, чтобы она описала искусственное оплодотворение?

– Нет-нет! – воскликнул Ривера. – Я просто пошутил! О'кей, водяные пистолеты всего лишь брызгалки. Давайте на этом и остановимся.

Но Лупе все бубнила свое.

– Она говорит, что ты всегда думаешь только о сексе, – перевел Ривере Хуан Диего.

– Не всегда! – воскликнул Ривера. – Когда я с вами двумя, я стараюсь не думать о сексе.

Лупе продолжала что-то бубнить. Она топала ногами – ее ботинки были велики ей; она нашла их на свалке. Ее топот превратился в импровизированный танец – включая пируэт, – она все ругала Риверу.

– Она говорит, что это низко – осуждать проституток, если ты все еще шляешься к проституткам, – объяснил Хуан Диего.

– О'кей, о'кей! – воскликнул Ривера, подняв над собой мускулистые руки. – Водяные пистолеты, брызгалки – это просто игрушки, никто от них не забеременеет! Что бы там ни было.

Лупе перестала танцевать; она указывала пальцем на свою верхнюю губу, продолжая дуться на Риверу.

– А что теперь? Что это такое – язык жестов? – спросил Ривера Хуана Диего.

– Лупе говорит, что у тебя никогда не будет подруги, которая не была бы проституткой, даже если ты избавишься от своих глупых усов, – ответил мальчик.

– Лупе говорит то, Лупе говорит се, – проворчал Ривера, но девочка все не сводила с него темных глаз, рисуя пальцем отсутствующие усы над своей гладкой верхней губой.

В другой раз Лупе сказала Хуану Диего:

– Ривера слишком уродлив, чтобы быть твоим отцом.

– *El jefe* внутри не уродлив, – ответил мальчик.

– У него в основном хорошие мысли, кроме как о женщинах, – сказала Лупе.

– Ривера любит нас, – сказал Хуан Диего сестре.

– Да, *el jefe* любит нас обоих, – признала Лупе. – Даже хотя я не от него – и ты, вероятно, тоже не от него.

– Ривера дал нам свою фамилию – нам обоим, – напомнил ей мальчик.

– Думаю, это больше похоже на кредит, – сказала Лупе.

– Как наши фамилии могут быть кредитом? – спросил мальчик; его сестра пожалала плечами, как их мать – трудно описать, как именно. (Всегда почти одинаково, и все же каждый раз чуть иначе.)

– Может, я, Лупе Ривера, всегда ею и буду, – несколько уклончиво ответила девочка. – А ты – другое дело. Ты не всегда будешь Хуаном Диего Риверой, ты другой, – единственное, что сказала об этом Лупе.

В то утро, когда жизнь Хуана Диего вот-вот должна была измениться, Ривера не отпустил пошлых шуточек насчет пистолета-брызгалки. *El jefe* с рассеянным видом сидел за рулем своего грузовика; хозяин свалки был готов совершить несколько ездов, начав с груза меди – тяжелого груза.

Вдалеке шел на снижение самолет – должно быть, садился, подумал Хуан Диего. Он все еще смотрел на небо в поисках воздушных судов. Возле Оахаки был аэропорт (в то время всего лишь взлетно-посадочная полоса), и мальчик любил наблюдать за самолетами, которые летали над *basurero*; он еще никогда не летал на самолете.

В этом сне Хуана Диего было неизвестно откуда взявшееся представление о человеке на борту данного самолета – так с появлением самолета в утреннем небе и возник одновременно образ будущего, ожидавшего Хуана Диего. А в действительности в то утро что-то довольно обычное отвлекло внимание Хуана Диего от снижающегося вдалеке самолета. Мальчик заметил то, что принял за перо, – но не от вороны или стервятника. Просто какое-то перо (неясно чье) впилося снизу в левое заднее колесо грузовика.

Лупе уже юркнула в кабину и села рядом с Риверой.

Диабло, несмотря на поджарый вид, был откормленным псом – и он превосходил роящихся в мусоре собак свалки не только в этом. Диабло выглядел независимым самцом-отшельником. (В Герреро его называли «мачо-зверь».)

Если Диабло клал передние лапы на ящик с инструментами Риверы, то его голова с вытянутой шеей торчала наружу со стороны пассажира; упершись передними лапами в запасное колесо пикапа *el jefe*, Диабло перекрывал головой обзор Ривере в боковом зеркале – на стороне водителя оно было побито. В зеркальной паутине треснувшего стекла отражалась четырехглазая морда Диабло. У собаки вдруг оказывалось две пасти, два языка.

– А где твой брат? – спросил Ривера у девочки.

– Я тут не одна сумасшедшая, – сказала Лупе, но хозяин свалки абсолютно ничего не понял.

Когда *el jefe* дремал в кабине своего грузовика, он часто ставил рычаг переключения передач, который находился на полу кабины, на задний ход. Если бы этот рычаг стоял на первой передаче, ручка упиралась бы ему в ребра, не давая заснуть.

Теперь же «нормальная», а не раздвоенная морда Диабло возникла в боковом – небитом – зеркале заднего вида со стороны пассажира, но, когда Ривера посмотрел в зеркало со стороны водителя, в паутину треснувшего стекла, он так и не увидел в нем Хуана Диего, пытающегося вытащить странноватое красно-коричневое перо, придавленное левым задним колесом грузовика. Грузовик дернулся назад и наехал на правую ногу мальчика. Это всего лишь куриное перо, понял Хуан Диего. В ту же долю секунды он на всю жизнь стал хромым – из-за пера, такого же обыкновенного, как грязь в Герреро. На окраине Оахаки многие семьи держали кур.

Небольшой бугорок под левым задним колесом заставил куклу Гваделупской Девы на приборной панели покачать бедрами.

– Поосторожней, а то забеременеешь, – сказала Лупе кукле, но Ривера не имел никакого понятия о том, что она сказала; *el jefe* услышал крик Хуана Диего. – Ты разучилась творить чудеса – ты продалась, – говорила Лупе гваделупской кукле. Ривера, затормозив, выскочил из кабины и бросился к раненому мальчику. (Диабло лаял как сумасшедший – неотличимо от других собак. Все собаки в Герреро принялись лаять.) – А теперь посмотри, что ты наделала, – укорила Лупе куклу на приборной доске, быстро вылезла из кабины и побежала к брату.

Правая нога мальчика была раздавлена, расплющена и кровоточила, изувеченную ступню вывернуло по отношению к лодыжке и голени в позицию «на два часа». Ботинок соскользнул. Ступня словно уменьшилась. Ривера отнес Хуана Диего к кабине; мальчик так бы и кричал, но боль перекрывала ему дыхание, поэтому он хватал ртом воздух, затем снова не мог вдохнуть.

– Постарайся нормально дышать, а то потеряешь сознание, – сказал Ривера.

– Может, наконец, ты починишь это дурацкое зеркало! – кричала Лупе хозяйину свалки.

– Что она там говорит? – спросил Ривера мальчика. – Надеюсь, не о моем боковом зеркале.

– Я пытаюсь нормально дышать, – сказал Хуан Диего.

Лупе первой забралась в кабину грузовика, чтобы брат мог положить голову ей на колени и высунуть больную ногу из окна со стороны пассажира.

– Вези его к доктору Варгасу! – кричала девочка Ривере, который понял лишь слово «Варгас».

– Сначала мы помолимся о чуде, а потом – Варгас, – сказал Ривера.

– Не жди никаких чудес, – сказала Лупе; она ударила гваделупскую куклу на приборной доске, и та снова закачала бедрами.

– Не отдавай меня иезуитам, – попросил Хуан Диего. – Мне нравится только брат Пепе.

– Пожалуй, мне самому придется все рассказать вашей матери, – говорил Ривера детям; он медленно вел машину, не желая давить собак в Герреро, но как только грузовик выехал на шоссе, *el jefe* нажал на газ.

От толчка Хуан Диего застонал; кровь из его раздавленной ноги, выставленной в открытое окно, окропляла место пассажира. В неповрежденном боковом зеркале возникла окровавленная морда Дьябло. В потоке ветра капли крови раненого мальчика летели за кабину, где Дьябло слизывал ее.

– Каннибализм! – воскликнул Ривера. – Ты подлый пес!

– «Каннибализм» – неподходящее слово, – возмутилась Лупе, как всегда оскорбляясь в своих лучших чувствах. – Собаки любят кровь – Дьябло хорошая собака.

Стиснув зубы от боли, Хуан Диего был не в состоянии перевести слова сестры в защиту слизывающей кровь собаки и только мотал головой, лежащей на коленях Лупе.

Когда ему удавалось не мотать головой, мальчику казалось, что он видит какой-то зловещий зрительный контакт между гваделупской куклой на приборной доске машины и своей отчаянной сестрой. Лупе назвали в честь Девы Гваделупской. Хуан Диего был назван в честь индейца, который встретил темнолицую Деву в 1531 году. *Los niños de la basura* родились среди индейцев в Новом Свете, но у них также была испанская кровь; это сделало их (в их собственных глазах) незаконнорожденными детьми конкистадоров. Хуан Диего и Лупе не чувствовали, что Дева Гваделупская непременно присматривает за ними.

– Ты должна молиться ей, нехристь неблагодарная, а не бить ее! – сказал в данный момент Ривера девочке. – Молись за своего брата – просите помощи у Гваделупской Девы!

Хуан Диего слишком часто переводил антирелигиозные выпады Лупе касательно этой Девы, поэтому он стиснул зубы, плотно сжал губы и не произнес ни слова.

– Гваделупку испортили католики, – начала Лупе. – Она была нашей Девой, но католики украли ее; они сделали ее темнокожей служанкой Девы Марии. С таким же успехом они могли бы назвать ее рабыней Марии – может быть, уборщицей Марии!

– Богохульство! Святотатство! Нехристь! – возопил Ривера.

Хозяину свалки не нужен был Хуан Диего, чтобы перевести обличительную речь Лупе, – он и раньше слышал ее высказывания на тему Гваделупской Девы. Для Риверы не было секретом, что Лупе испытывала любовь-ненависть к Богородице Гваделупской. *El jefe* также знал, что Лупе не нравится Богородица Мария. По мнению сумасшедшего ребенка, Дева Мария была самозванкой; на самом деле настоящей была Дева Гваделупская, но эти хитрые иезуиты украли

ее для своих католических целей. По мнению Лупе, темноликая Дева была скомпрометирована – то есть «испорчена». Дитя верило, что Богородица Гваделупская когда-то была чудотворной, но перестала быть таковой.

На этот раз Лупе нанесла левой ногой почти смертельный удар гваделупской кукле, но присоска крепко держала ее на приборной панели, и кукла завихляла и затряслась откровенно не девственным образом.

Чтобы пнуть куклу на приборной панели, Лупе лишь чуть приподняла колено к лобовому стеклу, но этого было достаточно, чтобы Хуан Диего вскрикнул.

– Вот видишь? Ты сделала больно своему брату! – закричал Ривера, но Лупе склонилась над Хуаном Диего и поцеловала его в лоб – ее пахнущие дымом волосы упали по обе стороны лица раненого мальчика.

– Запомни, – прошептала Лупе Хуану Диего. – Мы чудесны – ты и я. Не они. Только мы. Мы чудотворны, – сказала она.

Лежа с закрытыми глазами, Хуан Диего услышал рев самолета над головой. В тот момент он знал лишь, что они рядом с аэропортом; он ничего не знал о том, кто был в этом самолете и становился все ближе. В своем сне, конечно, он знал все – будущее в том числе. (Кое-что из него.)

– Мы чудотворны, – прошептал Хуан Диего.

Он спал – ему все еще снился сон, – хотя губы его шевелились. Никто его не слышал; разве услышишь писателя, который пишет во сне.

Кроме того, «Катай-Пасифик 841» все еще с грохотом летел в сторону Гонконга: с одной стороны самолета – Тайваньский пролив, с другой – Южно-Китайское море. Но во сне Хуану Диего было всего четырнадцать – пассажиру, которого пронзала боль, в грузовике Риверы, – и все, что мог сделать мальчик, – это повторять за своей ясновидящей сестрой: «Мы чудотворны».

Возможно, все пассажиры в самолете спали, потому что даже пугающе искушенная мать и ее чуть менее опасная дочь не слышали его.

5

Не уступая ветрам

Американец, который приземлился в Оахаке тем утром, – самый важный пассажир на прибывшем самолете в контексте будущего, которое ждало Хуана Диего, – был схоластом, готовящимся в священники. Его взяли преподавать в иезуитской школе и приюте; брат Пепе выбрал его из списка претендентов. Отец Альфонсо и отец Октавио, два старых священника в храме Общества Иисуса, выразили сомнения относительно того, владеет ли испанским молодой американец. Пепе считал, что схоласт более чем обучен всему; он был суперстудентом – так что наверняка поднатореет и в испанском.

Все в «Hogar de los Niños Perdidos» – в «Доме потерянных детей» – ожидали его. За исключением сестры Глории, все монахини, присматривавшие за сиротами в «Потерянных детях», признались Пепе, что им понравилась фотография молодого учителя. Пепе никому этого не говорил, но и ему фото показалось привлекательным. (Если на фото можно выглядеть истовым ревнителем веры, то именно так этот парень и выглядел.)

Отец Альфонсо и отец Октавио отправили брата Пепе встретить самолет с новым миссионером. Ориентируясь на фотографию из досье американского учителя, брат Пепе ожидал увидеть более крупного и зрелого мужчину. Дело было не только в том, что Эдвард Боншоу недавно сильно похудел, а еще и в том, что молодой американец, которому не было и тридцати, не купил никакой новой одежды с тех пор, как похудел. Одежда висела на нем огромным мешком, как на клоуне, что придавало сугубо серьезному схоласту по-детски расхристанный вид. Эдвард Боншоу напоминал младшего ребенка в большой семье – того, кто носил обноски, которые то ли забраковала, то ли переросла его родня, старшие братья и сестры. Короткие рукава его гавайской рубашки свисали ниже локтей; незаправленная в брюки рубашка (с попу-гаями в пальмах) болталась до колен. При выходе из самолета молодой Боншоу споткнулся, наступив на манжеты провисших до земли брюк.

Как всегда, самолет, приземляясь, сбил одну или нескольких куриц, которые заполошно перебежали взлетно-посадочную полосу. Красновато-коричневые перья взмыли в воздух как бы в случайных завихрениях ветра; там, где сходятся две цепи гор Сьерра-Мадре, бывает ветрено. Но Эдвард Боншоу не заметил гибели курицы (или нескольких кур); он воспринял перья и ветер так, словно они были теплым приветствием, адресованным именно ему.

– Эдвард? – спросил было брат Пепе, но куриное перо прилипло к его нижней губе и заставило его сплюнуть. Одновременно он подумал, что молодой американец выглядит неуместно, нелепо и неподобающе, но Пепе вспомнил свою собственную уязвимость в этом возрасте, и его сердце потянулось к молодому Боншоу – как будто новый миссионер был одним из сирот приюта «Потерянные дети».

Трехлетнее служение в рамках подготовки к священству называлось регентством; после этого Эдварду Боншоу надлежало еще три года изучать теологию. Рукоположение следовало за курсом теологии, напомнил себе Пепе, всматриваясь в молодого схоласта, который пытался отмахнуться от куриных перьев. А после рукоположения Эдварду Боншоу предстоял еще четвертый год теологии – притом что бедняга уже защитил кандидатскую по английской литературе! (Неудивительно, что он похудел, подумал брат Пепе.)

Но Пепе недооценил ретивого молодого человека, который, казалось, прилагал неестественные усилия, чтобы выглядеть героем-победителем в вихревом облаке куриных перьев. Действительно, брат Пепе не знал, что предки Эдварда Боншоу даже по иезуитским меркам представляли собой впечатляющую компанию.

Боншоу были родом из Дамфриса в Шотландии, недалеко от границы с Англией. Прадед Эдварда Эндрю эмигрировал в канадские Приморские провинции. Дед Эдварда Дункан эмигрировал в Соединенные Штаты – хотя и не совсем. (Как любил говорить Дункан Боншоу: «Только в штат Мэн, а не в прочие Соединенные Штаты».) Отец Эдварда Грэм двинулся дальше на Запад – на самом деле не дальше Айовы. Эдвард Боншоу родился в Айова-Сити; до поездки в Мексику он никогда не покидал Запада.

А как Боншоу стали католиками, знали только Бог и прадед Эдварда. Как и многие шотландцы, Эндрю Боншоу был воспитан в протестантстве; он отплыл из Глазго протестантом, но, высадившись в Галифаксе, Эндрю Боншоу был уже в тесных узах с Римом – он сошел на берег католиком.

Должно быть, на борту этого корабля, случилось обращение, если не чудо воскрешения из мертвых; да, во время трансатлантического перехода, видимо, произошло что-то чудесное, но, даже будучи стариком, Эндрю никогда не говорил об этом. Он унес это чудо с собой в могилу. Единственное, что Эндрю говорил о путешествии, – это что одна монахиня научила его играть в маджонг. Что-то случилось во время одной из их игр.

Эдвард Боншоу с недоверием относился к чудесам; при этом чудесное чрезвычайно интересовало его. Однако Эдвард ни разу не усомнился ни в католицизме, ни даже в необъяснимом обращении своего прадеда. Естественно, все Боншоу научились играть в маджонг.

«Кажется, в жизни самых истово верующих часто возникает противоречие, которое необъяснимо или просто не может быть объяснено», – написал Хуан Диего в своем индийском романе «История, которая началась благодаря Деве Марии». Хотя в романе речь шла о вымышленном миссионере, возможно, Хуан Диего имел в виду определенные черты Эдварда Боншоу.

– Эдвард? – еще раз повторил брат Пепе, только чуть менее робко. – Эдуардо? – на пробу добавил он. (Пепе не доверял своему английскому; он подумал, что, может быть, неправильно произнес имя «Эдвард».)

– Ага! – воскликнул молодой Эдвард Боншоу; затем без всякой видимой причины схоласт перешел на латынь: – *Haud ullis labentia ventis!* – приветствовал он Пепе.

Латынь Брата Пепе была на начальном уровне. Пепе подумал, что он услышал слово «ветер» или, возможно, множественное число этого слова; он предположил, что Эдвард Боншоу хвастается своим высшим образованием, которое включало в себя владение латынью, и что он скорее не шутил по поводу куриных перьев, реющих на ветру. На самом же деле молодой Боншоу цитировал надпись на своем фамильном шотландском гербе. У семейства Боншоу был свой рисунок в клетку – такой рисунок называется «тартан». Латинские слова на этом гербе Эдвард и твердил себе, когда нервничал или чувствовал себя неуверенно.

«*Haud ullis labentia ventis*» означало «не уступая ветрам».

Господи, в чем тут смысл? – гадал брат Пепе; бедный Пепе считал, что услышал на латыни что-то религиозное. Пепе сталкивался с иезуитами, которые слишком фанатично следовали житию святого Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов – Общества Иисуса. Именно в Риме святой Игнатий объявил, что он пожертвовал бы своей жизнью, дабы уберечь от греха хотя бы одну проститутку на одну ночь. Брат Пепе всю свою жизнь прожил в Мехико и Оахаке; Пепе знал, что только такой сумасшедший, как святой Игнатий Лойола, был готов пожертвовать своей жизнью, дабы уберечь от греха одну проститутку на одну ночь.

Ступив на усыпанный перьями асфальт, чтобы поприветствовать молодого американского миссионера, брат Пепе напомнил себе, что даже паломничество может оказаться мартышкиным трудом, если его совершает глупец.

– Эдвард – Эдвард Боншоу, – сказал Пепе схоласту.

– Мне нравится Эдуардо. Это что-то новенькое – почему бы нет! – ответил Эдвард Боншоу, ошарашив брата Пепе тем, что неистово прижал его к себе.

Пепе был очень рад подобным объятьям; ему понравилась неподдельная экспрессивность американца. И Эдвард (или Эдуардо) немедленно начал объяснять свое латинское высказывание. Пепе был удивлен, узнав, что «не уступая ветрам» – шотландское изречение, не имеющее отношения к религии, разве что оно протестантского происхождения, предположил брат Пепе.

Молодой человек со Среднего Запада был определенно позитивной личностью с общительным веселым нравом – с личным обаянием, решил брат Пепе. Но что подумают о нем остальные? – спрашивал себя Пепе. По мнению Пепе, остальные веселостью не отличались. Он подумал об отце Альфонсо и отце Октавио, а особенно о сестре Глории. О, как их шокируют подобные объятья – не говоря уже о попугаях в пальмах на смешной гавайской рубашке! – подумал брат Пепе, хотя его она вполне устраивала.

Затем Эдуардо – как предпочел зваться уроженец Айовы – захотел, чтобы Пепе посмотрел, какому насилию подверглись его сумки, когда он проходил через таможенную в Мехико.

– Только гляньте, что за кавардак устроили они с моими вещами! – взволнованно воскликнул американец, открывая перед Пепе свои чемоданы.

Для пылкого нового учителя не имело значения, что проходим в аэропорту Оахаки были видны его развороченные вещи.

Пепе подумал, что, должно быть, в Мехико проверяющий таможенник не без чувства мести распотрошил сумки пестро одетого миссионера, обнаружив в них такую же нелепую одежду запредельных размеров.

– Такие элегантные – должно быть, новый папский выпуск! – сказал брат Пепе молодому Боншоу, указывая на дополнительную партию гавайских рубашек в маленьком развороченном чемодане.

– В Айова-Сити это модно, – сказал Эдвард Боншоу, возможно в порядке шутки.

– Вроде как пыль в глаза для отца Альфонсо, – предупредил Пепе схоласта.

Это прозвучало неправильно; он, конечно, имел в виду «как бельмо на глазу» – или, возможно, ему следовало сказать: «Эти рубашки будут выглядеть для отца Альфонсо как соринка в глазу». Но Эдвард Боншоу его понял.

– Отец Альфонсо немного консервативен, верно? – спросил молодой американец.

– Это еще мягко выражено, – ответил брат Пепе.

– Мягко сказано, – поправил его Эдуард Боншоу.

– Мой английский немножко ржавый, – признался Пепе.

– Я поберегу вас от моего испанского, – сказал Эдвард.

Пепе было продемонстрировано, как таможенник нашел первый хлыст, потом второй.

– Орудия пыток? – спросил офицер молодого Боншоу – сначала по-испански, потом по-английски.

– Орудие благочестия, – ответил Эдвард (или Эдуардо).

«О, Господь милосердный, – подумал брат Пепе, – у нас появилась бедная душа, которая бичует себя, хотя нам нужен был не флагеллант, а лишь учитель английского!»

Второй чемодан был полон книг.

– Еще орудия пыток, – продолжал таможенник на испанском и английском языках.

– Дополнение к благочестию, – поправил офицера Эдвард Боншоу. (По крайней мере, флагеллант читает книги, подумал Пепе.)

– Сестры в приюте, среди них несколько ваших коллег-учителей, были очень впечатлены вашей фотографией, – сказал брат Пепе схоласту, который изо всех сил пытался упаковать в сумки свой попорченный багаж.

– Ага! Но с тех пор я сильно похудел, – сказал молодой миссионер.

– Вроде, надеюсь, вы не заболели, – рискнул сказать Пепе.

– Воздержание и еще раз воздержание. Воздержание – это хорошо, – объяснил Эдвард Боншоу. – Я бросил курить, бросил пить, – думаю, нулевой алкоголь убавил мой аппетит. Я просто не так голоден, как раньше, – сказал фанатик.

– Ага! – сказал брат Пепе. (Теперь он заставил меня сказать это! – удивился сам себе Пепе.) Сам он никогда не употреблял алкоголя – ни капли. «Нулевой алкоголь» ни разу не убавлял аппетит брата Пепе.

– Одежда, плети, материалы для чтения, – подытожил таможенник на испанском и английском языках, глядя на молодого американца.

– Только самое необходимое! – заявил Эдвард Боншоу.

Боже милостивый, пощади его душу! – подумал Пепе, как будто дни, оставшиеся схоласту на этой смертной земле, были уже сочтены.

Таможенник в Мехико также поставил под сомнение американскую визу, которая имела временные ограничения.

– Как долго вы собираетесь здесь оставаться? – спросил офицер.

– Три года, если все пойдет хорошо, – ответил молодой айовец.

Здесьние перспективы этого первопроходца показались брату Пепе неутешительными. Дай Бог, чтобы Эдвард Боншоу выдюжил хотя бы в течение шести месяцев миссионерской жизни. Айовцу понадобится больше одежды – той, которая будет ему впору. У него закончатся книги для чтения, и двух хлыстов ему не хватит – на те случаи, когда злосчастный фанатик испытает склонность к самобичеванию.

– Брат Пепе, вы водите «фольксваген-жук»? – воскликнул Эдвард Боншоу, когда оба иезуита направились к пыльному красному автомобилю на стоянке.

– Лучше просто «Пепе», пожалуйста, – сказал Пепе. – Можно не добавлять «брат».

Неужели все американцы восклицают по поводу очевидного? – спросил он себя, но ему положительно нравилось, с каким энтузиазмом реагировал на все молодой схоласт.

Кто, как не Пепе, человек, который сам был воплощением и поборником энтузиазма, подбирал этих толковых иезуитов, дабы управлять школой? Кто, как не он, ставил иезуитов во главе «Niños Perdidos»? А без добросердечной озабоченности такого радетеля, как брат Пепе, следящего за всем и вся, не появилось бы и приюта под названием «Дом потерянных детей» вдобавок к успешно работающей школе.

Но озабоченные, а в том числе и добросердечные, радетели могут оказаться рассеянными водителями. Возможно, в тот момент Пепе думал о читателе свалки; возможно, Пепе представлял, что он доставляет новую порцию книг в Герреро. Так или иначе, Пепе повернул не в ту сторону, когда покинул аэропорт, – вместо того чтобы направиться в сторону Оахаки и вернуться в город, он направился к *basurero*. Когда брат Пепе осознал свою ошибку, он уже был в Герреро.

Пепе плохо знал эти места. В поисках безопасного участка, чтобы развернуться, он выбрал грунтовую дорогу на свалку. Это была широкая дорога, по которой ездили только вонючие грузовики, медленно двигаясь к *basurero* или от него.

Естественно, как только Пепе остановил маленький «фольксваген» и сумел повернуть назад, обоих иезуитов окутали черные шлейфы дыма со свалки; горы тлеющего мусора и отбросов возвышались над дорогой. Можно было заметить детей-мусорщиков, лазающих вверх и вниз по вонючим холмам. Водителю приходилось быть бдительным, чтобы не наехать на мусорщиков – детей-оборванцев – и на местных собак. Запах, разносящийся вместе с дымом, заставил молодого американского миссионера зажать нос.

– Что это за место? Видение Аида с соответствующим запахом! Что за ужасный обряд совершают здесь эти бедные дети? – взволнованно спросил молодой Боншоу.

Как мы будем терпеть этого милого сумасшедшего? – подумал брат Пепе: благие порывы этого фанатика не произведут впечатления на Оахаку. Но Пепе сказал всего только:

– Это просто городская свалка. Запах исходит от сжигания среди прочего мертвых собак. Наша миссия поддерживает тут двух детей – *dos pepenadores*, двух мусорщиков.

– Мусорщиков! – воскликнул Эдвард Боншоу.

– *Los niños de la basura*, – мягко сказал Пепе, надеясь создать некоторое различие между мусорщиками-детьми и мусорщиками-собаками.

В этот момент покрытый копотью мальчик неопределенного возраста – явно ребенок свалки, что было понятно по его слишком большим ботинкам, – сунул маленькую дрожашую собачку в пассажирское окошко «фольксвагена».

– Нет, спасибо, – вежливо сказал Эдвард Боншоу, обращаясь скорее к зловонной собачонке, чем к мусорщику, который без обиняков заявил, что это голодное существо никому не принадлежит. (Дети свалки не считались нищими.)

– Ты не должен трогать эту собаку! – по-испански сказал Пепе оборванцу. – Она тебя может укусить!

– Я знаю про бешенство! – крикнул брату Пепе перепачканный в саже мальчик и вытащил из окна съевшуюся собачку. – Я знаю об инъекциях! – завопил маленький мусорщик на брата Пепе.

– Какой прекрасный язык! – заметил Эдвард Боншоу.

Господи, Боже мой, – схоласт совсем не понимает испанского! – подумал Пепе. Пленка копоти покрыла лобовое стекло «фольксвагена», и Пепе отметил, что дворники только размазывают сажу, перекрывая ему вид на дорогу из *basurero*. Именно потому, что ему нужно было выйти из машины, чтобы очистить ветошью ветровое стекло, брат Пепе рассказал новому миссионеру о Хуане Диего, «читателе свалки». Возможно, Пепе следовало бы сказать немного больше о младшей сестре мальчика – в частности, о явной способности Лупе читать чужие мысли и о непонятной речи этой девочки. Но, при всем оптимизме и энтузиазме, отличавших его, брат Пепе предпочел сосредоточиться на положительном и несложном.

В девочке Лупе было что-то не совсем понятное, вызывающее беспокойство, тогда как мальчик, то есть Хуан Диего, был просто замечательным. Нет ничего противоречивого в том, что четырнадцатилетний мальчик, рожденный и выросший на *basurero*, научился читать на двух языках!

– Спасибо Тебе, Иисус, – сказал Эдвард Боншоу, когда оба иезуита снова двинулись в путь – в правильном направлении, обратно в Оахаку.

Спасибо за что? – задался вопросом Пепе, когда молодой американец продолжил свою искреннюю молитву.

– Спасибо за мое полное погружение туда, где я больше всего нужен, – сказал схоласт.

– Это просто городская свалка, – еще раз сказал брат Пепе. – За детьми на свалке вполне прилично заботятся. Поверьте мне, Эдвард, – вы не нужны на *basurero*.

– Эдуардо, – поправил его молодой американец.

– *Sí*, Эдуардо, – только и нашелся, что сказать Пепе.

В течение многих лет он в одиночку противостоял отцу Альфонсо и отцу Октавио; эти священники были старше и теологически более подкованы, чем брат Пепе. Отец Альфонсо и отец Октавио заставляли Пепе чувствовать себя предателем католической веры – как если бы он был истовым светским гуманистом или кем-то еще хуже. (Можно ли быть кем-то хуже, с точки зрения иезуита?) Отец Альфонсо и отец Октавио знали католические догмы наизусть; пока два священника затыкали за пояс брата Пепе и заставляли его чувствовать себя нетвердым в его вере, их доктринерство было несокрушимо.

В лице Эдварда Боншоу Пепе, возможно, обрел достойного противника этих двух старых иезуитских священников – то есть сумасшедшего, но смелого воителя, который мог бы бросить вызов самой сути миссии в «*Niños Perdidos*».

Действительно ли молодой схоласт поблагодарил Господа за то, что назвал «полным погружением» в необходимость спасти двух брошенных детей? Неужели американец действительно считал детей свалки кандидатами на спасение?

– Мне жаль, что я не поприветствовал вас должным образом, сеньор Эдуардо, – сказал брат Пепе. – *Lo siento, bienvenido*⁸, – восторженно добавил он.

– ¡*Gracias!*⁹ – воскликнул фанатик. Сквозь вымазанное сажей лобовое стекло они оба могли разглядеть небольшое препятствие впереди на повороте; грузовики объезжали что-то. – Смертельный случай на дороге? – спросил Эдвард Боншоу.

Вороны и драчливая стая собак сражались за какую-то невидимую мертвечину; когда красный «фольксваген-жук» подъехал ближе, брат Пепе подал звуковой сигнал. Вороны разлетелись, собаки разбежались. На дороге осталось лишь пятно крови. Жертва дорожного происшествия, если это была ее кровь, исчезла.

– Все съели собаки и вороны, – сказал Эдвард Боншоу.

Еще больше восклицаний об очевидном, подумал брат Пепе.

Хуан Диего вдруг заговорил – мгновенно проснувшись от долгого сна, который, строго говоря, не был сном. (Это было больше похоже на видения, порожденные воспоминаниями, или наоборот; это было то, чего ему не хватало с тех пор, как бета-блокаторы украли его детство и столь важные для него первые годы юности.)

– Нет, это не смертельный случай на дороге, – сказал Хуан Диего. – Это моя кровь. Она капала с грузовика Риверы – Дьябло не все успевал слизывать.

– Вы что-то писали? – спросила Хуана Диего Мириам, властная мать.

– Похоже на что-то чернушное, – сказала Дороти, дочь.

Два их не совсем ангельских лица смотрели сверху на него; он знал, что они обе уже побывали в туалете и почистили зубы – их дыхание, в отличие от его собственного, было весьма свежим. Стюардессы суетились в салоне первого класса.

«Катай-Пасифик 841» шел на посадку в Гонконге; в воздухе стоял незнакомый, но приятный запах, определенно не от *basurero* в Оахаке.

– Мы только собирались разбудить вас, как вы сами проснулись, – сказала ему Мириам.

– Вы же не хотите проспать кекс с зеленым чаем – он почти так же хорош, как секс, – заметила Дороти.

– Секс, секс, секс – хватит секса, Дороти, – сказала ее мать.

Хуан Диего, отдавая себе отчет в том, как, должно быть, скверно пахнет у него изо рта, плотно сжав губы, улыбнулся обеим женщинам. Он мало-помалу начинал осознавать, где он и кто эти две привлекательные женщины. О да – я не принял бета-блокаторы, вспомнил он. Я ненадолго вернулся туда, откуда я родом! – думал он. Как же ему хотелось вернуться туда – до сердечной боли.

А что это такое? У него была эрекция в этом смешном спальном наряде от «Катай-Пасифик», в этой клоунской транстихоокеанской пижаме. Он же не принял даже половинки виагры – эти серо-голубые таблетки вместе с бета-блокаторами остались в его клетчатой сумке.

Хуан Диего проспал более пятнадцати часов полета продолжительностью шестнадцать часов десять минут. Он прохромал в туалет явно более быстрыми и легкими шагами. Его самозванные ангелы (даже если не совсем в категории хранителей) наблюдали за его уходом; похоже, и мать, и дочь относились к нему с любовью.

– Он такой симпатяга, правда? – заметила Мириам.

– Да, он милога, это так, – сказала Дороти.

– Слава богу, мы его нашли, без нас он бы точно пропал! – заметила мать.

⁸ Извините, добро пожаловать (*исп.*).

⁹ Спасибо! (*исп.*)

– Слава богу, – повторила Дороти; слово «богу» прозвучало несколько неестественно, сорвавшись со слишком спелых губ молодой женщины.

– Думаю, он писал – представляешь, писать во сне! – воскликнула Мириам.

– О крови, капающей из грузовика! – сказала Дороти. – Разве *diablo* не означает «дьявол»? – спросила она свою матушку, которая только пожала плечами.

– Честно сказать, Дороти, ты все время говоришь о кексах с зеленым чаем. Это всего лишь кекс, ради бога, – обратилась Мириам к дочери. – Вкушать кекс – это даже отдаленно не то же самое, что заниматься сексом!

Дороти закатила глаза и вздохнула; в стоячем или сидячем положении ее постоянно клонило к тому, что ниже пояса. (Легче было представить ее лежащей.)

Хуан Диего вышел из туалета, улыбаясь матери и дочери, охмуряющим его. Ему удалось освободиться от этой дурацкой пижамы «Катай-Пасифик», которую он вручил одной из стюардесс; он с нетерпением ждал кекса с зеленым чаем, хотя, может, и не так сильно, как Дороти.

Эрекция у Хуана Диего лишь чуть ослабла, он же был весьма озабочен этим; в конце концов, у него же были проблемы с эрекцией. Обычно для эрекции ему требовалось принять полтаблетки виагры – так было до настоящего момента.

В его изувеченной ноге всегда немного пульсировало после того, как он просыпался, но теперь пульсация была иной и ощущалась по-новому, – во всяком случае, так показалось Хуану Диего. Он воображал, что ему снова четырнадцать лет и грузовик Риверы только что раздавил его правую ногу. Он чувствовал тепло коленей Лупе своей шеей и затылком. Кукла Гваделупской Девы на приборной панели Риверы покачивалась туда-сюда – подчас подобным образом женщины намекали на что-то невысказанное и непризнанное. Именно в таком ключе представлялись Хуану Диего в данный момент Мириам и ее дочь Дороти. (Хотя они не покачивали бедрами!)

Но писатель не мог и слова сказать; зубы Хуана Диего были стиснуты, губы плотно сжаты, как будто он все еще пытался не закричать от боли и не биться головой из стороны в сторону на коленях своей давно ушедшей сестры.

6 Секс и вера

Длинный проход к отелю «Регал» в Международном аэропорту Гонконг был украшен неполным набором рождественской символики – веселыми мордами оленей и счастливыми, похожими на эльфов лицами свиты Санта-Клауса, но ни саней, ни подарков, ни самого Санты не было.

– Санта на случке – он, вероятно, вызвал службу эскорта, – пояснила Дороти Хуану Диего.

– Хватит секса, Дороти, – приструнила мать своенравную девушку.

По тому раздражению, которое сквозило в, казалось бы, беззлобной пикировке матери и дочери, Хуан Диего сделал вывод, что мать и дочь путешествуют вместе в течение многих лет – если не столетий.

– Санта определенно останавливается здесь, – сказала Дороти Хуану Диего. – Рождественское дерьмо круглый год.

– Дороти, ты здесь не круглый год, – возразила Мириам. – Ты не можешь этого знать.

– Мы здесь более чем достаточно, – угрюмо сказала дочь. – Такое чувство, что мы здесь круглый год, – пояснила она Хуану Диего.

Втроем они поднимались на эскалаторе, мимо *crèche*¹⁰. Хуану Диего показалось странным, что они ни разу не оказались снаружи, на улице, с тех пор как он приехал в заснеженный аэропорт имени Кеннеди. В *crèche* наблюдался обычный состав персонажей, людей и домашних животных – среди последних было только одно экзотическое существо. И чудотворная Дева Мария, как всегда считал Хуан Диего, могла бы поменьше напоминать обыкновенную женщину; здесь, в Гонконге, она застенчиво улыбалась, отводя глаза от своих почитателей. Но разве не все внимание в *crèche* должно быть уделено ее драгоценному сыну? Видимо, нет – Дева Мария была вне конкуренции. (И так, всегда считал Хуан Диего, было не только в Гонконге.)

Там был Иосиф – бедный глупец, как думал о нем Хуан Диего. Но если Мария действительно была девственницей, то Иосиф, похоже, отнесся к эпизоду деторождения так, как и следовало ожидать, – никаких испепеляющих взглядов или подозрений в сторону любопытствующих царей, волхвов, пастухов и прочих зевак и дармоедов: коровы, осла, петуха, верблюда. (Разумеется, это верблюд был тем самым единственным экзотическим существом.)

– Бьюсь об заклад, что отцом был один из этих типов-волхвов, – предположила Дороти.

– Хватит секса, Дороти, – сказала ее мать.

Хуан Диего подумал было, что он единственный, кто заметил отсутствие малыша Христа в *crèche* – или же его просто завалили сеном, и, может, он там задохнулся.

– Этот младенец Иисус... – начал он.

– Кто-то в прошлом похитил Святого Младенца, – пояснила Дороти. – Не думаю, что китайцев Гонконга это волнует.

– Может, Младенец Христос делает подтяжку лица, – предположила Мириам.

– Не все делают подтяжку лица, мама, – сказала Дороти.

– Этот Святой Младенец не ребенок, Дороти, – заметила ее мать. – Поверь мне, Иисус делал подтяжку лица.

– Католическая церковь сделала больше, чем подтяжку лица, дабы навести на себя косметический глянец, – резко сказал Хуан Диего, как будто Рождество и вся эта целевая кампания с *crèche* были строго римско-католическим делом.

¹⁰ Рождественские ясли (*фр.*).

Мать и дочь вопросительно посмотрели на него, как бы озадаченные его сердитым тоном. Но наверняка Мириам и Дороти не удивились бы стальным ноткам в голосе Хуана Диего, если бы они действительно читали его романы. У него была навязчивая идея – она касалась не людей веры или верующих любого рода, но определенной социальной и политической деятельности Католической церкви.

И все же резкость, с которой он иногда говорил, удивляла всех в Хуане Диего; он выглядел таким сдержанным и – из-за искаленной правой ноги – двигался так неспешно. Хуан Диего не был похож на рискованного человека, за исключением тех случаев, когда дело касалось его воображения.

Поднявшись на эскалаторе, трое путешественников оказались на запутанном перекрестке подземных переходов – с указателями направлений на Коулун и остров Гонконг, а также на некое место, называемое полуостровом Сай-Кунг.

– Мы поедем на поезде? – спросил Хуан Диего своих поклонниц.

– Не сейчас, – сказала Мириам, схватив его за руку.

Они были рядом с железнодорожной станцией, как предположил Хуан Диего, но его смущали названия ателье по пошиву одежды, ресторанов и ювелирных магазинов; драгоценности предлагались под вывеской «Бесконечные опалы».

– Почему бесконечные? Что такого особенного в опалах? – спросил Хуан Диего, но слух женщин отличался странной избирательностью.

– Сначала мы регистрируемся в отеле, чтобы просто освежиться, – сказала Дороти, схватив его за другую руку.

Хуан Диего захромал вперед; ему казалось, что он хромает не так сильно, как обычно. Но почему? Дороти катила клетчатую сумку Хуана Диего, которая сдавалась в багаж, и свою собственную – притом без особых усилий справляясь с обеими сумками одной рукой. Как это у нее получалось? – удивлялся Хуан Диего, когда они остановились у большого, доходящего до пола зеркала; оно было рядом со стойкой регистрации их отеля. Но когда Хуан Диего мельком посмотрел на себя в зеркало, двух спутниц рядом с собой он не увидел. Странно, что в зеркале не оказалось отражений этих двух эффектных женщин. Возможно, он взглянул на себя слишком уж мельком.

– Мы поедем на поезде в Коулун – увидим небоскребы на острове Гонконг, их огни отражаются в воде гавани. Лучше увидеть это после наступления темноты, – шептала Мириам на ухо Хуану Диего.

– Мы там перекусим, может, выпьем чего-нибудь, а потом вернемся в отель, – говорила Дороти в другое его ухо. – Потом нам захочется спать.

Что-то подсказало Хуану Диего, что он видел этих двух женщин раньше – но где, но когда?

Может, в такси, которое перепрыгнуло ограждение и застряло в глубоком снегу на беговой дорожке, что тянется вдоль Ист-Ривер? Таксист пытался откопать задние колеса – не лопатой для снега, а скребком для ветрового стекла. «Откуда ты взялся, придурок хренов, – из гребаной Мексики?» – рявкнул водитель лимузина, в котором сидел Хуан Диего.

В заднем окошке такси, как в рамке, виднелись лица двух выглядывающих женщин; они могли быть матерью и дочерью, но Хуану Диего показалось маловероятным, чтобы те две испуганные женщины могли быть Мириам и Дороти. Ему было трудно себе представить, что Мириам и Дороти чего-то боятся. Кто или что может напугать их? Однако эта мысль застряла у него в голове: он уже видел этих двух необычных женщин – он был в этом уверен.

– Очень современный, – вот и все, что Хуан Диего мог сказать об отеле «Регал», когда ехал в лифте с Мириам и Дороти.

Мать и дочь зарегистрировали и его, он только показал паспорт. Кажется, он и не платил.

Это был один из тех гостиничных номеров, где ключ от номера был своего рода кредитной картой; войдя в свой номер, вы вставляли карту в прорезь на стене сразу за дверью.

– Иначе света не будет и телевизор не включится, – объяснила Дороти.

– Позвоните нам, если у вас возникнут проблемы с современными устройствами, – сказала Хуану Диего Мириам.

– Не просто проблемы с современным дерьмом – любые проблемы, – добавила Дороти. На карточке-ключе Хуана Диего она написала номера двух апартаментов – своего и матери.

Значит, они в разных номерах? – подумал Хуан Диего, оставшись один.

Под душем его эрекция возобновилась; он знал, что должен принять бета-блокатор – он знал, что опоздал с этим. Но из-за эрекции он заколебался. Что, если Мириам или Дороти – или, что еще невероятней, обе – пойдут на близость с ним?

В ванной Хуан Диего вынул бета-блокаторы из сумочки с туалетными принадлежностями и положил рядом со стаканом воды около раковины. Это были таблетки лопресора – синевато-серые, эллиптической формы. Затем он достал таблетки виагры. Не совсем эллиптические, они имели форму мяча в американском футболе, только четырехгранную. Виагра и лопресор были похожи между собой благодаря серо-голубому цвету таблеток.

Хуан Диего понимал, что если каким-то чудом Мириам или Дороти пойдут на близость с ним, то сейчас слишком рано принимать виагру. Тем не менее он достал из той же сумочки устройство для резки таблеток и положил его рядом с таблетками виагры, дабы напомнить себе, что половины одной таблетки виагры будет достаточно. (Как писатель, он все всегда предусматривал.)

Я представляю все это себе, как похотливый подросток! – подумал Хуан Диего, пока переодевался, чтобы присоединиться к дамам. Его собственный настрой удивил его. В этих необычных обстоятельствах он не стал принимать никаких лекарств; он ненавидел бета-блокаторы за то, что они делали его заторможенным, и он знал, что лучше не принимать преждевременно половину одной таблетки виагры. Хуан Диего подумал, что по возвращении в Соединенные Штаты надо не забыть поблагодарить Розмари за то, что она посоветовала ему экспериментировать!

Жаль, что Хуан Диего путешествовал не со своим другом-доктором. «Поблагодарить Розмари» (за ее инструкции по использованию виагры) было не тем, что писателю следовало помнить. Доктор Штайн могла бы напомнить Хуану Диего о причине, по которой он чувствовал себя как несчастный Ромео, ковыляющий в обличье пожилого писателя: если вы принимаете бета-блокаторы и пропускаете дозу, берегитесь! Ваше тело изголодалось по адреналину; ваш организм внезапно начинает производить больше адреналина и задействует больше адреналиновых рецепторов. Так называемые сны, которые на самом деле представляли собой обостренные воспоминания Хуана Диего о детстве и ранней юности, были в такой же степени результатом пропущенного приема таблеток лопресора, как и внезапно пробудившаяся страсть к двум незнакомкам – матери и ее дочери, которые казались ему более знакомыми, чем кто бы то ни было.

Поезд, экспресс из аэропорта до станции Коулун, стоил девяносто гонконгских долларов. Возможно, застенчивость мешала Хуану Диего внимательно рассмотреть в поезде Мириам и Дороти; сомнительно, что он был искренне заинтересован в том, чтобы дважды прочитать каждое слово по обе стороны своего билета туда и обратно. Едва ли Хуан Диего интересовало сравнение китайских иероглифов с соответствующими словами на английском языке. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ», – было напечатано маленькими заглавными буквами, но, казалось, им не было никакого эквивалента в неизменных китайских иероглифах.

Писатель в Хуане Диего нашел недостаток в написании «1 поездка»; разве не следовало бы написать цифру 1 словом? Разве при этом надпись «одна поездка» не выглядела бы лучше?

Почти как название, подумал Хуан Диего. Он написал что-то на билете авторучкой, которая была всегда при нем.

– Что вы делаете? – спросила Мириам Хуана Диего. – Что может быть такого занимательного в билете на поезд?

– Он снова пишет, – сказала Дороти матери. – Он всегда пишет.

– «Взрослый билет до города», – произнес вслух Хуан Диего название своего билета, который он затем спрятал в кармане рубашки.

Он действительно не знал, как вести себя на свидании; он никогда этого не знал, а эти две женщины заставляли его нервничать.

– Всякий раз, когда я слышу слово «взрослый», я думаю о чем-то порнографическом, – сказала Дороти, улыбаясь Хуану Диего.

– Хватит, Дороти, – сказала ее мать.

Уже стемнело, когда их поезд прибыл на станцию Коулун; набережная Коулун была переполнена туристами, многие из которых фотографировали вид на небоскребы, но Мириам и Дороти незаметно скользили сквозь толпу. Возможно, мерилom увлеченности Хуана Диего матерью и дочерью было то, что он меньше хромал, когда Мириам или Дороти поддерживали его за предплечье или запястье; он даже полагал, что ему удавалось скользить так же незаметно, как и им двоим.

Облегающие свитера с короткими рукавами, которые были на женщинах под кардиганами, обрисовывали их груди, но сами свитера выглядели скорее скромно, чем броско. Возможно, подумал Хуан Диего, из-за этой скромности Мириам и Дороти оставались незамеченными; или же все объяснялось тем, что туристы вокруг были в основном азиатами и их, видимо, не интересовали эти две привлекательные женщины с Запада. Юбки на Мириам и Дороти, как и свитера, были тоже облегающими, то есть узкими, – во всяком случае, так сказал бы Хуан Диего, – но и их юбки не привлекали особого внимания.

Неужели я единственный, кто не перестает пялиться на этих женщин? – удивлялся Хуан Диего. Он не разбирался в том, что нынче модно; он не имел никакого представления о том, как «работают» нейтральные тона. Его сознание не отметило, что на Мириам и Дороти были бежево-коричневые юбки и серебристо-серые свитера – причем то и другое безупречного кроя. Про ткань он, возможно, подумал, что к ней приятно прикасаться, но что он действительно отметил, так это грудь Мириам и грудь Дороти и, конечно, их бедра.

В памяти Хуана Диего почти ничего не осталось от той поездки на поезде в Коулун – ни оживленной набережной Коулунской гавани, ни даже ресторана, в котором они ужинали, – лишь только то, что он был страшно голоден, и еще, что он наслаждался обществом Мириам и Дороти. Он и правда не мог вспомнить, когда ему было так хорошо, хотя позже – менее чем через неделю – уже забыл, о чем они тогда говорили. О его романах? О его детстве?

Встречаясь со своими читателями, Хуан Диего осторожничал, чтобы не сболтнуть слишком личного о себе, поскольку, как правило, его читателей именно это и интересовало. Он часто пытался перенаправить разговор на жизнь своих читателей; так что он наверняка попросил бы Мириам и Дороти, чтобы они рассказали ему о себе. Как насчет *их* детства, *их* юности? И Хуан Диего, видимо, спрашивал этих дам, хотя и аккуратно, о мужчинах в их жизни; конечно, ему было бы любопытно узнать, с кем они связаны. Тем не менее он ничего не помнил о разговоре в Коулуне – ни слова, – помнил лишь, с каким абсурдным вниманием изучал в экспрессе из аэропорта по пути в Коулун свой проездной билет и только обрывки разговора о книгах по пути обратно в отель «Регал».

Только одно и застряло у него в памяти на их обратном пути – момент неловкости в глянцево, вылизанном вестибюле станции метро «Коулун», когда Хуан Диего стоял с двумя женщинами на платформе в ожидании поезда.

Стекло и позолота интерьера с поблескивающими мусорными баками из нержавеющей стали, выставленными, как стражи чистоты, придавали станции вид больничного коридора. Хуан Диего все не мог найти иконку «камера» или «фото» в так называемом меню своего мобильного телефона – он хотел сфотографировать Мириам и Дороти, – и тогда всезнающая мать забрала у него мобильник.

– Мы с Дороти не фотографируемся – видеть себя не можем на фотографиях, – но дайте я сделаю ваше фото, – сказала Мириам.

На платформе, кроме них, была только одна молодая китайская пара (дети, подумал Хуан Диего) – они держались за руки. Молодой человек наблюдал за Дороти, которая выхватила телефон Хуана Диего из рук матери.

– Лучше мне это сделать, – сказала ей Дороти. – У тебя получаются ужасные снимки.

Но молодой китаец со словами: «Я могу снять вас всех сразу» – взял телефон у Дороти.

– О да, благодарю вас! – сказал ему Хуан Диего.

Мириам бросила на дочь взгляд, в котором читалось: «Если бы ты позволила мне снять, Дороти, этого бы не случилось».

Раздался гул приближающегося поезда, и молодая китайка что-то сказала своему другу – наверняка чтобы он поторопился, раз поезд близко.

Китаец так и сделал. Фотография застала Хуана Диего, Мириам и Дороти врасплох. Похоже, китайская пара подумала, что фото получилось неудачным, – может, не в фокусе? Тут подъехал поезд, и Мириам выхватила у китайцев мобильный телефон, а Дороти – еще быстрее – забрала его у матери. Уже сидя в экспрессе, Хуан Диего получил от Дороти свой телефон, с отключенным режимом камеры.

– Мы плохо получаемся на фото, – сказала Мириам, обращаясь к китайской паре; молодые люди, казалось, были слишком озадачены случившимся. (Возможно, обычно они фотографировали лучше.)

Хуан Диего снова поискал меню на своем мобильном телефоне, который был для него лабиринтом тайн. Что означала иконка «медиацентр»? Не то, что мне нужно, подумал Хуан Диего, когда Мириам накрыла его руки своими; она близко наклонилась к нему, как будто в вагоне стоял гул (хотя это было не так), и заговорила с ним, словно они были одни, притом что Дороти сидела рядом и ясно слышала каждое слово матери.

– Я не про секс, Хуан Диего, но у меня к вам вопрос, – сказала Мириам.

Дороти рассмеялась достаточно громко, так что привлекла внимание молодой китайской пары, усевшейся рядом. (Юноша перешептывался с девушкой, которая хоть и сидела у него на коленях, но почему-то была им недовольна.)

– И правда не про это, Дороти, – отрезала Мириам.

– Посмотрим, – презрительно ответила дочь.

– В «Истории, которая началась благодаря Деве Марии» есть отрывок, где ваш миссионер – забыла его имя... – начала Мириам.

– Мартин, – тихо сказала Дороти.

– Да, Мартин, – быстро повторила Мириам. – Вижу, ты читала эту книгу, – добавила она. – Мартин восхищается Игнатием Лойолой, не так ли? – Но прежде, чем писатель успел ответить, она поспешно продолжила: – Я все думаю о встрече этого святого с тем мавром на муле и об их разговоре о Деве Марии, – сказала Мириам.

– И мавр, и святой Игнатий оба ехали на мулах, – заметила Дороти.

– Я знаю, Дороти, – презрительно фыркнула Мириам. – И мавр говорит, что готов поверить, будто мать Мария зачала без мужчины, но он не верит, что она остается девственницей после родов.

– Знаешь, этот отрывок как раз про секс, – сказала Дороти.

– Вовсе нет, Дороти, – отрезала ее мать.

– И после того, как мавр едет дальше, юный Игнатий думает, что он должен догнать мусульманина и убить его, верно? – спросила Хуана Диего Дороти.

– Верно, – заставил себя ответить Хуан Диего, но думал он вовсе не о том давнем своем романе и не о миссионере по имени Мартин, который восхищался святым Игнатием Лойолой. Хуан Диего думал об Эдварде Боншоу и том, как изменилась вся жизнь со дня приезда схоласта в Оахаку.

Пока Ривера вез искалеченного Хуана Диего в *Templo de la Compañía de Jesús* и мальчик корчился, мотая от боли головой на коленях Лупе, Эдвард Боншоу был также на пути к храму иезуитов. В то время как Ривера надеялся на чудо, которое, по мнению хозяина свалки, могла совершить Дева Мария, именно новый американский миссионер должен был стать самым настоящим чудом в жизни Хуана Диего – чудом человека, пусть со всевозможными человеческими слабостями и далеко не святым.

О, как он скучал по сеньору Эдуардо! При этой мысли глаза Хуана Диего наполнились слезами.

– Удивительно, что святому Игнатию так сильно хотелось защитить девственность Матери Марии, – сказала Мириам, но смолкла, заметив, что Хуан Диего вот-вот заплачет.

– Дискредитировать послеродовое состояние влагалища Девы Марии было делом неуместным и неприемлемым, – вмешалась Дороти.

В этот момент, едва сдерживая слезы, Хуан Диего осознал, что эта мать и ее дочь цитируют отрывок из его «Истории, которая началась благодаря Деве Марии». Но как они могли так точно воспроизвести этот текст из его романа, почти дословно? Разве рядовой читатель на это способен?

– О, не плачь, дорогой мой человек! – сказала ему вдруг Мириам: она коснулась его лица. – Мне просто нравится этот отрывок!

– Ты заставила его плакать, – сказала Дороти маме.

– Нет-нет, это не то, что вы думаете... – начал было Хуан Диего.

– Ваш миссионер, – продолжала Мириам.

– Мартин, – напомнила Дороти.

– Я знаю, Дороти! – сказала Мириам. – Это так трогательно, так мило, что Мартин находит Игнатия восхитительным, – продолжала Мириам. – Я же считаю, что святой Игнатий кажется совершенно безумным!

– Он хочет убить незнакомца на муле, потому что у того свое мнение о послеродовом состоянии влагалища Девы Марии. Это улет! – объявила Дороти.

– Но, как всегда, – напомнил им Хуан Диего, – Игнатий полагается на Божью волю в этом вопросе.

– Избавьте меня от Божьей воли! – одновременно вскрикнули Мириам и Дороти, как будто у них вошло в привычку произносить это в одиночку или вместе. (Это привлекло внимание молодой китайской пары.)

– И на развилке дороги Игнатий отпустил поводья своего мула; если бы животное последовало за мавром, Игнатий убил бы неверного, – сказал Хуан Диего.

Он мог бы рассказать эту историю с закрытыми глазами. Не так уж необычно, что писатель может вспомнить написанное им почти слово в слово, подумал Хуан Диего. Однако чтобы читатели удержали в памяти фактические слова – ну, это и вправду необычно, да?

– Но мул выбрал другую дорогу, – произнесли мать и дочь в унисон, так что Хуану Диего показалось, будто они обладают авторитетом всеведущего древнегреческого хора.

– Но святой Игнатий был ненормальным – он, вероятно, был сумасшедшим, – сказал Хуан Диего; он сомневался, что они поняли этот отрывок.

– Да, – ответила Мириам. – Это у вас очень смелое заявление, даже для романа.

– Тема послеродового состояния любого влагалища сексуальна, – сказала Дороти.

– Там не о том – там о вере, – сказала Мириам.

– Там о сексе и вере, – пробормотал Хуан Диего; он не дипломатничал – он имел в виду именно это. Две женщины могли подтвердить его слова.

– Знаете ли вы кого-нибудь, кто, как этот миссионер, восхищался бы святым Игнатием? – спросила его Мириам.

– Как Мартин, – тихо повторила Дороти.

Полагаю, мне нужен бета-блокатор... Хуан Диего не сказал этого, но именно об этом он и подумал.

– Она имеет в виду, был ли Мартин реальным? – спросила его Дороти; она видела, как писатель явно напрягся при вопросе матери, что заставило Мириам выпустить его руки.

Сердце Хуана Диего бешено колотилось – адреналиновые рецепторы работали как сумасшедшие, но он не мог говорить.

– Я потерял так много людей, – попытался сказать Хуан Диего, но слово «людей» прозвучало так невнятно, будто это Лупе сказала что-то.

– Думаю, он был реальным, – сказала Дороти своей матушке.

Теперь они обе протянули руки к сидящему Хуану Диего – его трясло.

– Миссионер, которого я знал, был не Мартин, – выдавил из себя Хуан Диего.

– Дороти, этот дорогой нам человек потерял близких, помнишь, мы обе читали то интервью, – сказала Мириам.

– Помню, – ответила Дороти. – Но ты спрашивала об образе Мартина.

Все, что мог сделать Хуан Диего, – это покачать головой; потом появились слезы, много слез. Он не мог объяснить этим женщинам, почему (и по кому) он плачет, – ну, по крайней мере, не мог в экспрессе.

– ¡Señor Eduardo! – воскликнул Хуан Диего. – ¡Querido¹¹ Eduardo!

Именно в этот момент китаянка, которая все еще сидела на коленях у своего парня – все еще тоже чем-то расстроенная, – явно рассердилась. Она принялась колотить своего парня, скорее от досады, чем от возмущения, и почти нарочито (по-настоящему бьют совсем иначе).

– Я же говорила ему, что это вы! – внезапно сказала девушка Хуану Диего. – Я знала, что это вы, но он мне не поверил!

То есть она узнала писателя, возможно, с самого начала, но ее парень с ней не согласился – или он просто не был читателем. Хуан Диего не увидел читателя в китайском парнишке, и писателя ничуть не удивило, что девушка читала его. Разве не об этом неоднократно говорил Хуан Диего? Именно читатели-женщины не дают литературе умереть – вот еще одна из них. Когда Хуан Диего выкрикнул по-испански имя учителя, китаянка поняла, что была права насчет того, кто он такой.

Для Хуана Диего это был еще один момент признания его как писателя. Ему хотелось сдержать слезы. Он помахал китаянке и попытался улыбнуться. Если бы он заметил, как Мириам и Дороти посмотрели на молодую китайскую пару, то мог бы задаться вопросом, не опасно ли ему находиться в компании этих двух незнакомок, матери и дочери, но Хуан Диего не видел, как Мириам и Дороти испепеляющим взглядом заткнули рот читательнице-китаянке – больше того, в этом взгляде была прямая угроза. (Этот взгляд говорил: мы нашли его первыми, грязная маленькая дырка. Найди себе любимого писателя – а этот наш!)

С чего бы это Эдвард Боншоу всегда цитировал Фому Кемпийского? Или же Эдуардо просто любил слегка подшучивать над фразой из трактата «О подражании Христу»: «Пореже бывайте с молодыми и незнакомцами».

¹¹ Дорогой (исп.).

Хм, да – теперь уже было слишком поздно предупреждать Хуана Диего насчет Мириам и Дороти. Ты не пропускаешь приема своей дозы бета-блокаторов и игнорируешь парочку таких женщин, как эта матушка и ее дочь.

Дороти прижала Хуана Диего к груди и стала укачивать его, обхватив своими на удивление сильными руками, писатель же все всхлипывал. Он, без сомнения, отметил, что на молодой женщине один из тех лифчиков, в которых соски четко обозначены: они явно проступали сквозь лифчик и свитер, поверх которого на Дороти был кардиган.

Должно быть, это Мириам (подумал Хуан Диего), почувствовав, что ему массируют затылок; Мириам снова наклонилась к нему и зашептала на ухо:

– Вы чудесный человек, конечно, больно быть таким! Вы так все чувствуете! Большинство мужчин не чувствуют того, что чувствуете вы, – сказала Мириам. – Эта бедная мать из «Истории, которая началась благодаря Деве Марии» – боже мой! Когда я думаю о том, что с ней случилось...

– Не надо, – предупредила Дороти мать.

– Статуя Девы Марии падает с пьедестала и убивает ее! Она умирает на месте, – продолжала Мириам.

Дороти почувствовала, как Хуан Диего содрогнулся на груди Мириам.

– Ты добилась своего, мама, – осуждающе сказала дочь. – Хочешь, чтобы ему стало еще хуже?

– Ты упускаешь главное, Дороти, – быстро сказала ее матушка. – Как там написано: «По крайней мере, она была счастлива. Не каждому христианину посчастливилось быть мгновенно убитым Пресвятой Богородицей». Господи, какая занятная сцена!

Но Хуан Диего снова покачал головой, на сей раз утыкаясь в груди молодой Дороти.

– Это ведь была не ваша мама – с ней ведь такого не было, правда? – спросила его Дороти.

– Хватит автобиографических инсинуаций, Дороти, – сказала ее мать.

– Кто бы говорил, – сказала Дороти.

Несомненно, Хуан Диего отметил, что грудь Мириам тоже привлекательна, хотя ее соски не были обозначены под свитером. Не такой современный вид бюстгальтера, подумал Хуан Диего, пытаясь ответить на вопрос Дороти о своей матери, которая не была насмерть раздавлена упавшей статуей Девы Марии, – все было не совсем так.

И снова Хуан Диего не мог вымолвить ни слова. Он был переполнен эмоционально и сексуально; в его теле бурлило столько адреналина, что он не мог сдержать ни вожделения, ни слез. Он тосковал по всем, кого когда-либо знал; он желал и Мириам, и Дороти до такой степени, что не мог бы сказать, кого из них больше.

– Бедняжка, – прошептала Мириам на ухо Хуану Диего; он почувствовал, как она целует его в затылок.

Дороти сделала вдох. Хуан Диего почувствовал, как ее грудь прижалась к его лицу.

Что же говорил Эдвард Боншоу в те моменты, когда этот фанатик чувствовал, что мир человеческих слабостей должен подчиниться воле Бога, когда все, что мы, простые смертные, можем сделать, – это выслушать Божье веление, каким бы оно ни было, и исполнить его? Хуан Диего все еще слышал, как сеньор Эдуардо говорил: «*Ad majorem Dei gloriam*» – «К великой славе Божьей».

При таких обстоятельствах – уткнувшийся в груди Дороти, целуемый ее матерью – разве это не все, что мог исполнить Хуан Диего? Просто выслушать Божью волю, а потом исполнить ее? Конечно, тут было некоторое противоречие: Хуан Диего едва ли был в компании женщин Божьего волеизъявления. (Мириам и Дороти были женщинами типа «Избавьте меня от Божьей воли!»)

– *Ad majorem Dei gloriam*, – пробормотал писатель.

– Это, должно быть, испанский, – сказала Дороти матушке.

- Христа ради, Дороти, – сказала Мириам. – Это гребаная латынь.
- Хуан Диего почувствовал, как Дороти пожала плечами.
- Что бы это ни было, – сказала мятежная дочь, – это касается секса, стопудово.

7

Две Девы

На ночном столике в номере Хуана Диего была панель с кнопками. Эти кнопки, непонятно как, приглушали или включали и выключали свет в спальне и ванной, но притом непостижимым образом влияли на работу радио и телевизора.

Садистка-горничная оставила радио включенным, – похоже, подобное издевательство, подчас далеко не сразу замечаемое, практиковалось по всему миру горничными отелей, – однако Хуану Диего удалось приглушить громкость радио, пусть и не выключить его. Свет везде действительно припогас и все же остался мерцать, несмотря на попытки Хуана Диего выключить его. Экран телевизора ненадолго вспыхнул, но снова потемнел и сдох. Последнее средство, к которому можно прибегнуть, – это вынуть кредитную карту (на самом деле ключ от номера) из прорези у двери в номер; тогда, как предупреждала Дороти, все электричество погаснет, и он останется в кромешной темноте.

Я могу жить на ощупь в темноте, подумал писатель. Он не мог понять, как это он, проспав пятнадцать часов в самолете, снова чувствовал усталость. Возможно, всему виной была кнопочная панель или же его новоиспытанное вожделение? И горничная бесцеремонно переложила все его принадлежности в ванной. Резак для таблеток оказался на противоположной стороне раковины, а не там, где были аккуратно размещены бета-блокаторы (с виагрой).

Да, он помнил, что уже давно пропустил все сроки приема бета-блокаторов, но все равно не стал принимать ни одной серо-голубой таблетки лопресора. Он подержал эллиптическую таблетку в руке, но затем вернул ее во флакончик. Вместо этого Хуан Диего принял таблетку виагры – причем целую. Обычно ему было вполне достаточно и половины, но он подумал, что если Дороти позвонит или постучит к нему в дверь, то половины окажется маловато.

Лежа в полудреме в тускло освещенном гостиничном номере, Хуан Диего подумал, что и визит Мириам может потребовать от него целой дозы виагры. И поскольку он привык только к половине таблетки – то есть к пятидесяти миллиграммам, а не к ста, – он знал, что нос у него заложит больше обычного, а горло пересохнет, и он чувствовал, что у него начинается головная боль. Как всегда, он специально выпил под виагру много воды; вода вроде бы уменьшала побочные эффекты. И вода, вдобавок к пиву, заставляла его вставать по ночам, чтобы пописать. Таким образом, если Дороти или Мириам все же не появятся, ему не придется ждать до утра, чтобы принять таблетку лопресора, делающую его заторможенным; прошло так много времени с тех пор, как он последний раз принимал бета-блокатор, что, возможно, будет лучше принять две таблетки лопресора, подумал Хуан Диего. Однако его сбивающие с толку адреналиновые желания смешались с усталостью и вечным сомнением в себе. Зачем кому-то из этих желанных женщин спать со мной? – спросил себя писатель. Затем он, разумеется, заснул. Пусть без свидетелей, но даже во сне у него была эрекция.

Если из-за выброса адреналина Хуан Диего возжелал женщин, некую мать и ничуть не меньше – ее дочь, то он должен был бы предвидеть, что его сны в отеле «Регал» (воссоздание подросткового опыта, сформировавшего его самого) могут пострадать от наплыва деталей.

В своем сне Хуан Диего почти не узнал грузовик Риверы. Обдуваемая ветром кабина покрылась снаружи полосами крови; едва ли более узнаваемой была окровавленная морда Диабло, собаки *el jefe*. Заляпанный запекшейся кровью мальчика грузовик, который был припаркован возле *Templo de la Contría*, привлек внимание пришедших в храм туристов и прихожан. Трудно было не заметить и окровавленную собаку.

Диабло, оставленный в кузове пикапа Риверы, яростно защищал свою территорию, не позволяя прохожим приближаться к грузовику, хотя один смелый мальчик все же коснулся засохшей полоски крови на пассажирской двери, убедившись, что она еще липкая и что это действительно кровь.

– ¡Sangre!¹² – сказал храбрый мальчик.

Кто-то первым пробормотал: «Una matanza». (Что означало «кровавая баня» или «резня».) К каким только выводам не придет толпа!

Увидев кровь на старом грузовике и окровавленную морду собаки, толпа пришла к нескольким последовательным умозаключениям. Отколовшаяся от нее группа бросилась в храм; кто-то сказал, что жертва, скорее всего, бандитской перестрелки, положена у ног большой Девы Марии. (Как можно было такое пропустить?)

И как раз когда в результате буйных домыслов возбужденная толпа, покинув место преступления (грузовик у обочины), рванулась, как обезумевшая, в храм, чтобы лицезреть саму драму, брат Пепе припарковал свой закоптившийся красный «фольксваген-жук» рядом с окровавленным грузовиком, на котором рычал похожий на убийцу Диабло.

Брат Пепе узнал грузовик *el jefe*; он увидел кровь и подумал, что бедным детям, находившимся, как ему было известно, на попечении Риверы, причинено какое-то немислимое зло.

– Ой, ой – *los niños*, – засуетился Пепе. – Оставьте свои вещи, – сказал он Эдварду Боншоу. – Похоже, здесь какие-то неприятности.

– Неприятности? – повторил фанатик с интонацией крайнего соучастия. Кто-то из толпы произнес слово *perro*, и Эдвард Боншоу, поспешивший за идущим вперевалку братом Пепе, мельком увидел ужасную морду Диабло. – А что с собакой? – спросил он брата Пепе.

– *El perro ensangrentado*, – сказал Пепе и повторил: – Собака окровавлена.

– Ну, я это и сам вижу! – чуть ли не проворчал Эдвард Боншоу.

Храм иезуитов был переполнен ошеломленными зеваками.

– *Un milagro!* – крикнул один из них.

Испанский язык Эдварда Боншоу был скорее избирательным, чем просто плохим; слово *milagro* он знал – оно вызвало у него явный интерес.

– Чудо? – спросил Эдвард у Пепе, который проталкивался к алтарю. – Какое чудо?

– Не знаю, я только что попал сюда! – тяжело дышал брат Пепе.

Нам был нужен учитель английского, а теперь у нас есть *un milagrero*, думал бедный Пепе; чудака или чудотворец.

Это Ривера громко молился о чуде, а толпа идиотов – или некоторые идиоты в толпе, – несомненно, услышала его. Теперь слово «чудо» было у всех на устах.

El jefe осторожно положил Хуана Диего перед алтарем, но мальчик все равно стонал. (Во сне Хуан Диего преуменьшил боль.) Ривера не переставал креститься и, стоя на коленях, бить поклоны всевластной статуе Девы Марии – при этом он то и дело оглядывался через плечо в ожидании матери детей свалки. Было неясно, о каком чуде больше всего молился Ривера – об исцелении Хуана Диего или о том, чтобы его миновал гнев Эсперансы, ведь она наверняка обвинит Риверу (так и произошло) за этот несчастный случай.

– Так стонать не годится, – бормотал Эдвард Боншоу. Он еще не видел стонущего от боли мальчика, но, судя по этим звукам, тот явно нуждался в потенциальном чуде.

– Вот пример, когда молятся с надеждой на помощь, – выдохнул брат Пепе; он знал, что его слова были не совсем правильны. Он спросил Лупе, что случилось, но не мог понять, что сказала это полоумное дитя.

– На каком языке она говорит? – участливо спросил Эдвард. – Это немного похоже на латынь.

¹² Кровь! (*исп.*)

– Это тарабарщина, хотя девочка кажется очень умной, чуть не провидицей, – прошептал брат Пепе на ухо новоприбывшему. – Никто не может понять ее, только мальчик.

Стоны подростка были невыносимыми. Именно в тот момент Эдвард Боншоу и увидел истекающего кровью Хуана Диего, распростертого перед возвышающейся, как башня, Девой Марией.

– Милостивая Богородица! Спаси бедное дитя! – воскликнул айовец, заставив замолчать бормочущую толпу, но не стонущего мальчика.

Хуан Диего не заметил никого в храме, за исключением двух скорбящих женщин, преклонивших колени на первой скамье. Они были во всем черном – головы полностью покрыты вуалью. Как ни странно, стонущего мальчика утешало то, что две женщины выражали скорбь. Когда Хуан Диего увидел их, его боль утихла.

Это было не совсем чудо, но внезапное ослабление боли заставило Хуана Диего задуматься, его ли оплакивают эти две женщины, потому что он как бы уже умер или потому что скоро умрет. Снова посмотрев на них, мальчик увидел, что молчаливые плакальщицы не шевелились; две женщины в черном, склонив головы, были неподвижны, как статуи.

Независимо от наличия или отсутствия боли, для Хуана Диего не было сюрпризом, что Дева Мария не исцелила его ногу; точно так же мальчик не замирал в ожидании чуда и от Богоматери Гваделупской.

– Девы-лентяйки сегодня не работают или не хотят тебе помогать, – сказала Лупе своему брату. – Кто этот странный чужак? Чего он хочет?

– Что она сказала? – спросил покалеченного мальчика Эдвард Боншоу.

– Дева Мария – обманщица, – ответил мальчик и тотчас почувствовал, как к нему возвращается боль.

– Обманщица? Только не наша Мария! – воскликнул Эдвард Боншоу.

– Это тот самый ребенок со свалки, о котором я вам рассказывал, *un niño de la basura*, – пытался пояснить брат Пепе. – Он умен...

– Кто вы такой? Что вам надо? – спросил Хуан Диего этого гринго в смешной гавайской рубашке.

– Он наш новый учитель, Хуан Диего, будь вежлив, – предупредил мальчика брат Пепе. – Он один из нас, мистер Эдвард Бон...

– Эдуардо, – перебил его настырный айовец.

– Отец Эдуардо? Брат Эдуардо? – спросил Хуан Диего.

– Сеньор Эдуардо, – внезапно сказала Лупе. Даже айовец понял ее.

– Вообще-то, достаточно просто «Эдуардо», – скромно заметил Эдвард.

– Сеньор Эдуардо, – повторил Хуан Диего; по неизвестной причине пострадавшему читателю свалки понравилось, как это звучит.

Мальчик поискал глазами двух скорбящих женщин на первой скамье, но не увидел их. То, что они могли вдруг просто исчезнуть, пронзило Хуана Диего подобно его пульсирующей боли; она ненадолго отступила, но теперь стала опять нестерпимой. Что касается этих двух женщин, ну, возможно, им было привычно вот так просто возникать или исчезать. Кто знает, что может показаться мальчику, испытывающему такую боль?

– Почему Дева Мария обманщица? – спросил Эдвард Боншоу мальчика, который неподвижно лежал у ног Божьей Матери.

– Не спрашивайте – не сейчас. Не тот момент, – начал было говорить брат Пепе, но Лупе уже что-то невнятно забубнила, указав сначала на Богоматерь Марию, а затем на маленькую темнолицую девицу, которую часто не замечали в ее более скромном киоте.

– Это Богоматерь Гваделупская? – спросил новый миссионер.

По сравнению с Марией-монстром, стоящей возле алтаря, образ Девы Гваделупской был маленьким и намеренно спрятанным чуть ли не в самый дальний угол храма, так что его почти не было видно.

– ¡Sí! – крикнула Лупе, топнув ногой; она вдруг плюнула на пол, почти идеально попав между двумя Девами.

– Еще один возможный обман, – сказал Хуан Диего, дабы объяснить спонтанный плевок сестры. – Но Гваделупская Дева не так уж плоха, просто ее немного подпортили.

– Так это та самая девочка... – начал было Эдвард Боншоу, но брат Пепе предостерегающе положил руку на плечо айовца.

– Не говорите этого, – предупредил Пепе молодого американца.

– Нет, она не та самая, – ответил Хуан Диего. Невысказанное остановленное слово зависло в храме, как будто его передала одна из чудотворных Дев. (Естественно, Лупе прочитала мысли нового миссионера; она знала, о чем он думал.)

– Нога мальчика не в порядке, она раздавлена и вывернута не в ту сторону, – сказал Эдвард брату Пепе. – Разве не доктор должен его осмотреть?

– ¡Sí! – крикнул Хуан Диего. – Отвезите меня к доктору Варгасу. Только хозяин надеялся на чудо.

– Хозяин? – спросил сеньор Эдуардо, как будто это слово можно было принять за обращение верующего к Всемогущему.

– Только не этот хозяин, – сказал брат Пепе.

– Какой хозяин? – спросил айовец.

– *El jefe*, – сказал Хуан Диего, указывая на взволнованного Риверу, придавленного сознанием собственной вины.

– Ага! Отец мальчика? – спросил Эдвард у Пепе.

– Нет, наверное, нет – он хозяин свалки, – сказал брат Пепе.

– Он был за рулем грузовика! Он слишком ленив, чтобы починить боковое зеркало! И посмотрите на его дурацкие усы! Ни одна женщина, которая не проститутка, никогда не захочет его с этой волосатой гусеницей на губе! – проблекотала Лупе.

– Боже, она говорит на своем собственном языке, верно? – спросил Эдвард Боншоу брата Пепе.

– Это Ривера. Он вел грузовик, который меня переехал, но он для нас как отец – лучше, чем отец. Он нас не бросает, – сказал Хуан Диего новому миссионеру. – И он никогда не бьет нас.

– Ага, – сказал Эдвард с несвойственной для него осторожностью. – А твоя мать? Где она...

Словно вызванная Девами-бездельницами, взявшими себе выходной, Эсперанса бросилась к своему сыну у алтаря; она была восхитительно красивой молодой женщиной, которая всякий раз устраивала парад из своего появления, где бы то ни происходило. Мало того что она не была похожа на уборщицу у иезуитов; айовцу она, безусловно, не показалась чьей бы то ни было матерью.

И что такого особенного в женщинах с такой грудью? – размышлял про себя брат Пепе. Почему их грудь вечно так выпирает?

– Как всегда – поздно, как обычно – в истерике, – угрюмо сказала Лупе. На Деву Марию и Деву Гваделупскую девочка смотрела без всякой веры – при появлении своей матери Лупе просто отвернулась.

– Мальчик наверняка не ее... – начал было сеньор Эдуардо.

– Нет, ее... как и девочка, – только и сказал Пепе.

Эсперанса бормотала что-то бессвязное; казалось, она молила о чем-то Деву Марию, вместо того чтобы, как мирянка, просто спросить Хуана Диего, что с ним произошло. Ее заклина-

ния звучали для брата Пепе как тарабарщина Лупе, – возможно, это генетика, подумал Пепе; тут (конечно же) встряла и Лупе, привнеся в невразумительное моление *свою* долю лопотания. Естественно, Лупе тыкала пальцем в хозяина свалки, пересказывая сагу о растрескавшемся боковом зеркале и ноге, раздавленной в результате того, что грузовик дал задний ход. В девочке не было никакой жалости к Ривере с его губами-гусеницами, который, казалось, был готов броситься к ногам Девы Марии или несколько раз удариться головой о пьедестал, на котором так бесстрастно стояла Богоматерь. Но была ли она бесстрашна?

Именно в этот момент Хуан Диего посмотрел вверх, на лицо Девы Марии, обычно лишённое каких бы то ни было эмоций. Повлияла ли боль на его зрение, или Богоматерь Мария и в самом деле сердито взглянула на Эсперансу – на ту, которая, несмотря на свое имя, привнесла так мало надежды в жизнь своего сына? И что именно не устроило Богородицу? Что заставило Святую Деву Марию так сердито посмотреть на мать этих детей?

Глубокий вырез открытой блузки Эсперансы, безусловно, более чем обнажал невероятный, разделенный ложбинкой бюст уборщицы, и с позиции Девы Марии, водруженной на пьедестал, с этой всеохватной высоты Божья Матерь взирала на *décolletage*, то бишь на декольте, Эсперансы.

Сама Эсперанса не обращала внимания на категорическое неприятие своей особы со стороны громоздящейся над всеми статуи. Хуан Диего был удивлен, что мать поняла, о чем запальчиво лопочет ее дочь. Хуан Диего привык переводить речь Лупе – даже для Эсперансы, – но на сей раз это было не нужно.

Эсперанса перестала умоляюще заламывать руки возле пальцев ног Девы Марии; уборщица столь чувственного вида больше не умоляла равнодушную статую. Хуан Диего всегда недооценивал способность матери обвинять других. В данном случае ее праведный гнев обрушился на Риверу – на *el jefe* с его разбитым боковым зеркалом заднего вида, на того, кто спал в кабине своего грузовика, поставив рукоятку передач на задний ход. Крепко сжав кулаки, она била хозяина свалки обеими руками; она пинала его по голеникам; она рвала ему волосы, ее браслеты царапали ему лицо.

– Вы должны помочь Ривере, – сказал Хуан Диего брату Пепе, – или ему тоже предстоит прием у доктора Варгаса. – Затем раненый мальчик обратился к сестре: – Ты видела, как Дева Мария посмотрела на нашу мать?

Но, казалось бы, всезнающая девочка только пожал плечами.

– Дева Мария всех осуждает, – сказала Лупе. – Для этой большой сучки все не очень-то хороши.

– Что она сказала? – спросил Эдвард Боншоу.

– Бог знает, – сказал брат Пепе. (Хуан Диего не предложил перевода.)

– Если ты хочешь о чем-то побеспокоиться, – сказала Лупе брату, – лучше побеспокойся о том, как Гваделупка смотрела на тебя.

– Как? – спросил девочку Хуан Диего. Боль в ноге мешала ему повернуть голову, чтобы посмотреть на менее заметную из двух Дев.

– Как будто она все еще думает о тебе, – пояснила Лупе. – Гваделупка еще не решила насчет тебя, – сказала ему ясновидящая.

– Заберите меня отсюда, – сказал Хуан Диего брату Пепе. – *Señor* Эдуардо, вы должны мне помочь, – добавил раненый, схватив нового миссионера за руку. – Ривера отнесет меня, – продолжал Хуан Диего. – Но сначала вы должны помочь Ривере.

– Эсперанса, пожалуйста, – сказал брат Пепе уборщице; он вытянул руки и поймал ее тонкие запястья. – Мы должны отвезти Хуана Диего к доктору Варгасу – нам нужен Ривера и его грузовик.

– Его грузовик! – крикнула в истерике мать.

– Вам надо помолиться, – сказал Эсперансе Эдвард Боншоу; необъяснимым образом он знал, как сказать это по-испански, и у него это прекрасно получилось.

– Помолиться? – переспросила его Эсперанса. – Кто он такой? – вдруг спросила она Пепе, который смотрел на свой кровотокающий палец; один из браслетов Эсперансы порезал его.

– Наш новый учитель, тот, которого мы все так ждали, – сказал брат Пепе, как бы внезапно испытав приступ вдохновения. – Или Эдуардо из Айовы. – Пепе произнес слово «Айова» так, словно это был Рим.

– Айова, – вздымая грудь, повторила Эсперанса в своей соблазняющей манере. – Сеньор Эдуардо, – повторила она и сделала перед айовцем неловкий, но глубокий реверанс, продемонстрировав свой бюст во всем великолепии двух его составляющих. – Помолиться где? Помолиться здесь? Помолиться сейчас? – спросила она нового миссионера в пестрой рубашке с попугаями.

– *Sí*, – сказал сеньор Эдуардо, пытаясь смотреть куда угодно, только не на ее бюст.

Надо отдать должное этому парню, он знает свое дело, подумал брат Пепе.

Ривера уже поднял Хуана Диего с алтаря, где внушительно высилась Дева Мария. Мальчик коротко вскрикнул от боли, но этого хватило, чтобы гомон толпы затих.

– Посмотри на него, – говорила Лупе брату.

– Посмотри на... – переспросил ее Хуан Диего.

– На него, на гринго – на человека-попугая! – сказала Лупе. – Он человек-чудотворец. Разве ты не понимаешь? Это он. Он пришел за нами – во всяком случае, за тобой, – сказала Лупе.

– В каком смысле «он пришел за нами» – что это значит? – спросил Хуан Диего сестру.

– Во всяком случае, за тобой, – повторила Лупе, отворачиваясь; вид у нее был чуть ли не безразличный, как будто она потеряла интерес к тому, что говорила, или больше не верила себе. – Я подумала и вижу, что гринго не мое чудо – только твое, – разочарованно сказала девочка.

– Человек-попугай! – со смехом повторил Хуан Диего, но, когда Ривера нес его, мальчик увидел, что Лупе не улыбается. Серьезная, как всегда, она, казалось, сканировала толпу, как будто искала того, кто мог бы стать ее чудом, и не находила такого.

– Вы, католики... – морщась от боли, сказал Хуан Диего, когда Ривера плечом вперед пробирался сквозь толпу, забившую вход в иезуитский храм.

Брат Пепе и Эдвард Боншоу так и не поняли, не к ним ли обращался мальчик. «Вы, католики» могло означать толпу зевак, включая пронзительную, но безуспешную молитву матери детей свалки, – Эсперанса всегда молилась вслух, как Лупе, и на языке Лупе. И теперь, так же как и Лупе, Эсперанса перестала умолять Деву Марию; ту, другую, темнолицую Деву, размерами поменьше, к которой и было обращено истовое внимание прекрасной уборщицы.

– О ты, в которую прежде не верили, ты, в которой сомневались, ты, которую просили доказать, кто ты есть на самом деле, – молилась Эсперанса Богоматери Гваделупской, размером с ребенка.

– Вы, католики... – снова начал Хуан Диего. Дьябло увидел приближающихся детей свалки и начал вилять хвостом, но в этот момент раненый мальчик схватил в горсть попугаев на гавайской рубашке нового миссионера, которая была ему велика. – Вы, католики, украли нашу Деву, – сказал Хуан Диего Эдварду Боншоу. – Гваделупская Дева была нашей, и вы забрали ее – вы использовали ее, вы сделали ее просто служанкой своей Девы Марии.

– Служанкой! – повторил айовец. – Этот мальчик замечательно говорит по-английски! – сказал Эдвард брату Пепе.

– *Sí*, замечательно, – ответил Пепе.

– Но, может быть, из-за боли он стал бредить, – предположил новый миссионер.

Брат Пепе подумал, что боль Хуана Диего тут ни при чем; Пепе уже слышал гваделупскую проповедь мальчика.

– Для ребенка со свалки он *milagroso*. – Именно так выразился брат Пепе: чудотворен. – Он читает лучше наших учеников, и не забывайте – он самоучка.

– Да, я знаю, – это поразительно! Самоучка! – воскликнул сеньор Эдуардо.

– И Бог знает, как и где он выучил английский – не только на *basurero*, – сказал Пепе. – Мальчик общается с хиппи и призывниками-уклонистами – активный мальчик!

– Но все кончается на *basurero*, – успел сказать Хуан Диего между приступами боли. – Даже книги на английском.

Он перестал искать тех двух скорбящих женщин. Хуан Диего подумал: его боль означает, что он больше не увидит их, потому что он не умирает.

– Я не поеду с гусеничной губой, – проговорила Лупе. – Я хочу поехать с человеком-попу-гаем.

– Мы хотим поехать в кузове, вместе с Дьябло, – сказал Хуан Диего Ривере.

– *Sí*, – вздохнув, сказал хозяин свалки; он понимал, когда его отвергли.

– Это дружелюбная собака? – спросил брата Пепе сеньор Эдуардо.

– Я поеду за вами на «фольксвагене», – ответил Пепе. – Если вас разорвут на куски, я смогу быть свидетелем, чтобы рекомендовать вас начальству как потенциального святого.

– Я серьезно, – сказал Эдвард Боншоу.

– И я, Эдвард, простите, Эдуардо, и я, – ответил Пепе.

Как только Ривера устроил раненого мальчика на колени Лупе в кузове пикапа, на место происшествия прибыли два старых священника. Эдвард Боншоу уперся спиной в запасное колесо грузовика – дети разместились между ним и Дьябло, который с подозрением смотрел на нового миссионера, и из недремлющего левого ока собаки катилась вечная слеза.

– Что здесь происходит, Пепе? – спросил отец Октавио. – У кого-то обморок или сердечный приступ?

– Это те дети свалки, – нахмурившись, сказал отец Альфонсо. – От этого мусоровоза несет, как с того света.

– О чем это сейчас молится Эсперанса? – спросил отец Октавио Пепе, поскольку пронзительный голос уборщицы тоже несся как бы с того света – или, по крайней мере, со стороны входа в иезуитский храм.

– Хуан Диего переехал грузовик Риверы, – начал объяснять брат Пепе. – Мальчика привезли сюда ради чуда, но две наши Девы не смогли ничего сотворить.

– Я полагаю, они направляются к доктору Варгасу, – сказал отец Альфонсо, – но почему с ними гринго?

Два священника морщили свои необычайно чувствительные и подчас всеосуждающие носы, причиной чего был не только мусоровоз, но и гринго с полинезийскими попугаями на его безвкусной, размером с палатку рубашке.

– Только не говорите мне, что Ривера заодно переехал и какого-то туриста, – сказал отец Октавио.

– Этого человека мы все так долго ждали, – с ехидной улыбкой произнес брат Пепе. – Это Эдвард Боншоу из Айовы – наш новый учитель.

Пепе чуть было не добавил, что сеньор Эдуардо является *un milagrero* – то бишь чудотворцем, но счел за лучшее умолчать об этом. Брату Пепе хотелось, чтобы отец Октавио и отец Альфонсо сами открыли для себя Эдварда Боншоу. Пепе предпочел выразиться так, чтобы заинтриговать этих двух консервативных-по-самое-не-могу священников, но был осторожен и чудо упомянул лишь как бы между делом.

– *Señor Eduardo es bastante milagroso*, – вот как Пепе это преподнес. «Сеньор Эдуардо – это нечто чудесное».

– *Señor Eduardo*, – повторил отец Октавио.

– Чудотворец! – с отвращением воскликнул отец Альфонсо.

Эти два старых священника никогда не использовали походя слово *milagroso*.

– О, сами увидите... сами увидите, – с невинным видом сказал брат Пепе.

– У американца есть другие рубашки, Пепе? – спросил отец Октавио.

– Те, которые ему впору? – добавил отец Альфонсо.

– *Sí*, куча рубашек – все гавайские! – ответил Пепе. – И полагаю, они все немного великоваты ему, потому что он сильно похудел.

– Почему? Он умирает? – спросил отец Октавио.

Потеря веса была не более привлекательна для отца Октавио и отца Альфонсо, чем эта отвратительная гавайская рубашка; два старых священника были почти такими же толстыми, как брат Пепе.

– То есть... он умирает? – спросил отец Альфонсо брата Пепе.

– Нет, насколько мне известно, – ответил Пепе, стараясь сдержать улыбку. – На самом деле Эдвард кажется очень здоровым – и очень хочет быть полезным.

– Полезным, – повторил отец Октавио, словно это был смертный приговор. – Как утилитарно.

– Боже милосердный, – сказал отец Альфонсо.

– Я еду за ними, – сказал брат Пепе священникам и торопливо заковылял к своему закопченному красному «фольксвагену». – На всякий случай.

– Боже милосердный, – отозвался отец Октавио.

– Предоставьте это американцам – быть полезными, – сказал отец Альфонсо.

Грузовик Риверы отъехал от обочины, и брат Пепе последовал по дороге за ним. Впереди он видел лицо Хуана Диего, голову которого бережно держала в своих маленьких руках его странная сестра. Дьябло снова положил передние лапы на ящик с инструментами; ветер сдувал с морды пса неравноценные уши – нормальное ухо и то, в котором отсутствовал зазубренный треугольный кусок. Но все внимание брата Пепе было сосредоточено на Эдварде Боншоу.

– Посмотри на него, – сказала Лупе Хуану Диего. – На него, на гринго – человека-попугая!

Вот что брат Пепе увидел в Эдварде Боншоу – человека сопричастного, человека, который никогда не чувствовал себя как дома, но который вдруг обретал свое место в заданном ходе вещей.

Брат Пепе не отдавал себе отчета, взволнован он, или испуган, или то и другое вместе; теперь он видел, что сеньор Эдуардо действительно человек определенной цели.

Это и было в сновидении Хуана Диего – чувство уверенности, что все изменилось и что данный момент – провозвестник всей твоей дальнейшей жизни.

– Алло? – раздался голос молодой женщины, и только теперь Хуан Диего осознал, что у него в руке телефонная трубка.

– Алло, – сказал писатель, который крепко спал и только теперь обнаружил, что у него пульсирующая эрекция.

– Привет – это я... это Дороти, – сказала молодая женщина. – Вы ведь один, да? Моя мама не у вас?

8

Два презерватива

Каким снам писателя-беллетриста вы можете поверить? Очевидно, в снах Хуан Диего мог свободно представлять себе, что думает и чувствует брат Пепе. Но чья точка зрения снилась Хуану Диего? (Не брата же Пепе.)

Хуан Диего был бы рад поговорить об этом и о других аспектах своей возрождающейся жизни во сне, хотя ему показалось, что сейчас неподходящее время. Дороти играла с его пенисом. Как отметил писатель, молодая женщина уделяла этой посткоитальной игре такое же пристальное внимание, как и своему мобильному телефону и ноутбуку. А Хуан Диего был не слишком склонен к мужским фантазиям, даже как писатель-беллетрист.

– Думаю, ты можешь еще раз сделать это, – говорила обнаженная девушка. – О'кей, может, не сразу, но довольно скоро. Только посмотрите на этого парня! – воскликнула она. В первом случае она тоже не стеснялась.

В нынешние свои годы Хуан Диего не так чтобы часто созерцал свой пенис, но Дороти с самого начала сосредоточилась на последнем.

А что между ними было в предварительной игре? – подумал Хуан Диего. (Нельзя сказать, что у него был большой опыт в играх до или после.) Он просто пытался растолковать Дороти величание в Мексике Девы Марии Гваделупской. Они лежали обнявшись в тускло освещенной постели Хуана Диего, где до них едва доносились приглушенные звуки радио – как будто с далекой планеты, – когда бесстыдная девица откинула покрывало и уставилась на его адреналиновую, усиленную виагрой эрекцию.

– Проблема началась с Кортеса, который завоевал империю ацтеков в тысяча пятьсот двадцать первом году. Кортес был настоящим католиком, – рассказывал Хуан Диего молодой женщине; Дороти лежала, уткнувшись лицом ему в живот, и ела глазами его пенис. – Кортес пришел из Эстремадуры; Гваделупская Дева из Эстремадуры, я имею в виду статую, предположительно была изваяна святым Лукой, евангелистом. Ее обнаружили в четырнадцатом веке, – продолжал Хуан Диего, – когда эта Дева предстала в одном из своих загадочных образов – это ее всем известное явление некоему простому пастуху. Она велела ему копать на месте ее появления; и там пастух обнаружил икону.

– Это совсем не старый пенис – тут у нас реальный парень на изготовку, – сказала Дороти, не очень-то озабоченная темой Гваделупской Девы. Тут Дороти и начала – она не теряла времени даром.

Хуан Диего старался не обращать на нее внимания.

– Гваделупская Дева из Эстремадуры была смуглокожей, как большинство мексиканцев, – пояснил Хуан Диего, хотя его смущало, что он разговаривает с затылком темноволосой молодой женщины. – Таким образом, Дева Гваделупская из Эстремадуры оказалась идеальным инструментом прозелитизма для тех миссионеров-прозелитов, которые последовали за Кортесом в Мексику; Богородица Гваделупская стала идеальной иконой для обращения туземцев в христианство.

– Угу, – ответила Дороти, засовывая член Хуана Диего в рот.

Хуан Диего никогда не был сексуально уверенным в себе мужчиной; в последнее время, не считая своих опытов наедине с виагрой, у него вообще не было сексуальных отношений. И все же Хуану Диего удалось по-рыцарски отреагировать на то, что Дороти усаживается на него, – он продолжал повествовать. Должно быть, это в нем заговорил романист: он умел надолго сосредоточиваться; он никогда не был новеллистом.

– Это произошло через десять лет после испанского завоевания, на холме в окрестностях Мехико, – сказал Хуан Диего молодой женщине, сосущей его пенис.

– Тепейяк, – отвлеклась на мгновение Дороти; она произнесла это слово идеально, прежде чем снова взяла в рот его член. Хуан Диего был потрясен тем, что такая не шибко образованная с виду девушка знает название данного места, но он постарался никак не отреагировать ни на это, ни на минет.

– Это было ранним декабрьским утром тысяча пятьсот тридцать первого года... – снова начал Хуан Диего.

Он почувствовал резкий укол зубов Дороти, когда импульсивная девушка быстро заговорила, даже не сделав паузы на то, чтобы вынуть его пенис изо рта:

– В Испанской империи именно это утро было праздником Непорочного Зачатия – не совпадение ли?

– Да, однако... – начал было говорить Хуан Диего, но остановился; Дороти теперь сосала таким способом, который не предполагал, что она будет вставлять свои комментарии. Писатель продолжил как ни в чем не бывало: – Крестьянин Хуан Диего, в честь которого меня назвали, увидел явление девушки. Она была окружена светом; ей было всего пятнадцать или шестнадцать лет, но, когда она заговорила с ним, этот крестьянин Хуан Диего якобы понял – по ее словам, которым мы как бы должны верить, – что эта девушка либо Дева Мария, либо кто-то вроде Девы Марии. И она хотела, чтобы на том месте, где она явилась ему, возвели церковь – целую церковь в ее честь.

На что Дороти, вероятно, недоверчиво хмыкнула – или издала похожий на хмыканье невнятный звук, который требовал интерпретации. Как Хуану Диего следовало догадаться, Дороти знала эту историю, что же касается вероятности появления Девы Марии (или кого-то вроде нее) в образе юной девицы, ожидающей, что бедолага-крестьянин построит для нее целую церковь, то невербальное высказывание Дороти означало больше, чем намек на сарказм.

– Что же было делать бедному крестьянину? – спросил Хуан Диего.

Судя по тому, как молодая женщины внезапно фыркнула, это был для нее более чем риторический вопрос. Этот грубый фыркающий звук заставил Хуана Диего – не крестьянина, а нашего Хуана Диего – вздрогнуть. Романист, без сомнения, опасался еще одного острого укуса со стороны занятой своим делом девушки, но никакой боли не последовало – по крайней мере, в данный отрезок времени.

– Ну, крестьянин рассказал испанскому архиепископу свою невероятную историю, – продолжал стоять на своем писатель.

– Сумаррага! – удалось выплюнуть Дороти, прежде чем она издала короткий рвотный звук.

Какая невероятно осведомленная молодая женщина – она даже знала имя сомневающегося архиепископа! Хуан Диего был поражен.

Явное знание Дороти всей конкретики на мгновение удержало Хуана Диего от продолжения его версии истории Гваделупской Девы; он остановился перед той частью истории, в которой речь шла о чуде, то ли озадаченный знанием Дороти предмета, которым долгое время он был одержим, то ли (наконец-то!) отвлекшись на минет.

– И что же сделал этот сомневающийся архиепископ? – спросил Хуан Диего.

Он испытывал Дороти, и даровитая молодая женщина не разочаровала его – за исключением того, что она перестала сосать его член. Она выпустила его пенис с различимым хлопком, отчего писатель снова вздрогнул.

– Мудак-епископ велел доказать это, как будто это было делом крестьянина, – с презрением сказала Дороти. Она двинулась вверх по телу Хуана Диего, пропуская его пенис между своих грудей.

– И бедный крестьянин вернулся к Деве и попросил у нее знаков свыше, дабы удостовериться ее личность, – продолжал Хуан Диего.

– Как будто это было ее гребаное дело, – сказала Дороти, целуя его шею и покусывая мочки ушей.

В этот момент стало непонятно – то есть невозможно определить, кто кому что сказал. В конце концов, они оба знали эту историю и торопились поскорее покончить с повествованием. Пресвятая Дева сказала, чтобы Хуан Диего (крестьянин) собрал цветы; то, что в декабре росли цветы, пожалуй, раздвигало границы правдоподобия, а то, что цветы, найденные крестьянином, были кастильскими розами, а не родом из Мексики, – тем более.

Но это же была история о чуде, и к тому моменту, как Дороти или Хуан Диего (писатель) добрались до той части повествования, где крестьянин показывал епископу цветы – Дева Мария завернула розы в скромный плащ крестьянина, – Дороти уже успела сотворить свое маленькое чудо. Предприимчивая молодая женщина принесла свой собственный презерватив, который, пока они разговаривали, она ухитрилась надеть на Хуана Диего; девушка была многофункциональной – этим качеством, подмеченным им в молодых людях, которых он знал, будучи учителем, писатель весьма и весьма восхищался.

В узком кругу сексуальных контактов Хуана Диего не было женщины, которая носила бы свои собственные презервативы и являлась экспертом в их надевании; также он никогда не встречал девушку, которая занимала бы позицию сверху столь же непосредственно и напористо, как Дороти.

Из-за своей неопытности в общении с женщинами – особенно с молодыми, такими же активными и сексуально искушенными, как Дороти, – Хуан Диего растерялся и замолк. Едва ли он смог бы завершить эту существенную часть истории Гваделупской Девы, а именно то, что произошло, когда бедный крестьянин распахнул перед епископом Сумаррагой свой плащ с розами.

Именно Дороти, пусть даже она уже фундаментально устроилась на пенисе Хуана Диего – ее груди болтались, пошлепывая лицо писателя, – пришлось досказать эту часть истории. Когда цветы выпали из плаща, на их месте, на ткани деревенского плаща бедного крестьянина, обозначился образ самой Девы Гваделупской, ее руки были сложены в молитве, глаза смиренно потуплены.

– Дело скорее не в том, что изображение Гваделупской Девы обозначилось на этой дурацкой одежде, – сказала молодая женщина, раскачиваясь взад и вперед на Хуане Диего. – Дело в самой девице – я имею в виду, в том, как она выглядела. Должно быть, именно это впечатлило епископа.

– Что вы имеете в виду? – часто дыша, выдавил из себя Хуан Диего. – Внешний вид Гваделупской Девы?

Дороти запрокинула голову и встряхнула волосами; ее груди заколыхались над Хуаном Диего, и у него перехватило дыхание при виде струйки пота, которая катилась в ложбинке между ними.

– Я имею в виду ее позу! – запыхтела Дороти. – Она так держала руки, чтобы не были видны ее сиськи, если, конечно, они у нее были. Она смотрела вниз, но все равно можно было заметить жуткий свет в ее глазах. Я не имею в виду в темной части...

– В радужке... – начал было говорить Хуан Диего.

– Нет, не в радужках – в ее зрачках! – выдохнула Дороти. – Я имею в виду посерединке – там в ее глазах был адский свет.

– Да! – прокряхтел Хуан Диего; он всегда так думал – до сих пор он не встречал никого, кто был бы с ним согласен. – Но Гваделупская Дева была другой не только из-за смуглой кожи, – с усилием проговорил он; с подпрыгивающей на нем Дороти дышать становилось все труднее

и труднее. – Она говорила на науатле, местном языке, – она была индианка, а не испанка. Если она была Девой, то ацтекской Девой.

– Какое это имело значение для недоумка-епископа? – спросила его Дороти. – Поза Гваделупской Девы была такой гребано-скромной, такой похожей на Марию! – воскликнула папушная в поте лица молодая женщина.

– ¡Sí! – крикнул Хуан Диего. – Эти манипуляторы-католики... – начал было он, но тут Дороти с какой-то сверхъестественной силой схватила его за плечи. Она оторвала его от постели и перевернула, бросив сверху на себя.

Но пока она еще была на нем, а Хуан Диего смотрел ей прямо в глаза, он заметил, что Дороти наблюдает за ним.

Что там давным-давно говорила Лупе? «Если ты хочешь о чем-то беспокоиться, тебе следует беспокоиться о том, как Гваделупка смотрит на тебя. Как будто она все еще думает о тебе. Гваделупская Дева еще не решила насчет тебя», – сказала ему ясновидящая сестренка.

Разве не так Дороти смотрела на Хуана Диего за полсекунды до того, как схватила его и потянула на себя? Это был хотя и короткий, но пугающий взгляд. И теперь под ним Дороти напоминала одержимую. Ее голова моталась из стороны в сторону, ее бедра бились в него с такой мощью, что Хуан Диего цеплялся за нее, как человек, который боится упасть. Однако куда падать? Кровать была огромной – ни малейшей угрозы упасть с нее.

Сначала ему почудилось, будто накатывающий оргазм стал причиной того, насколько обострился слух. Не приглушенное ли радио он слышал? Неизвестный язык звучал тревожно и в то же время до странности знакомо. Разве здесь говорят не по-китайски? – задавался вопросом Хуан Диего, но в голосе женщины по радио не было ничего китайского – и этот голос не был приглушенным. Может, в пылу любовных страстей одна из летающих рук Дороти – рук или ног – задела панель с кнопками на ночном столике? Женщина по радио, на каком бы языке она ни изъяснялась, на самом деле пронзительно кричала.

Вот тогда Хуан Диего и осознал, что кричащая женщина – Дороти. Радио оставалось таким же приглушенным, как и раньше; оргазм Дороти превзошел какие бы то ни было ожидания и поводы.

Хуан Диего испытал нежелательное слияние двух мыслей, следовавших одна за другой: чисто физическое осознание, что так чувственно, как теперь, он никогда еще не кончал, совпало с убеждением, что при первой же возможности он должен определенно принять двойную дозу бета-блокатора. Но у этого неконтролируемого посыла был брат (или сестра). Хуану Диего показалось, что он знает, на каком языке изъяснялась Дороти, хотя прошло много лет с тех пор, как он в последний раз слышал этот язык. То, что кричала Дороти перед тем, как кончить, звучало на языке науатль, на котором говорила Богоматерь Гваделупская, – это был язык ацтеков. Но науатль принадлежит к группе языков Центральной и Южной Мексики и Центральной Америки. Как, каким образом Дороти могла говорить на нем?

– Может, ты ответишь на телефонный звонок? – спокойно спросила его по-английски Дороти.

Она выгнула спину, заложив руки за голову на подушке, чтобы Хуану Диего было легче дотянуться до телефона на ночном столике. Не из-за тусклого ли света кожа Дороти казалась темнее, чем была на самом деле? Или она действительно была более смуглой, чем представлялось до сих пор Хуану Диего?

Ему пришлось вытянуться, чтобы взять трубку; сначала грудь Хуана Диего, потом его живот коснулись груди Дороти.

– Это моя мать, – томно сказала молодая женщина. – Разумеется, она сначала позвонила в мой номер.

Может быть, три дозы бета-блокатора, подумал Хуан Диего.

– Алло? – смущенно произнес он в трубку.

– У вас, наверное, в ушах звенит, – сказала Мириам. – Удивлена, что вы вообще услышали телефон.

– Слушаю вас, – ответил Хуан Диего громче, чем намеревался; в его ушах все еще звенело.

– Весь этаж, если не весь отель, должно быть, слышал Дороти, – добавила Мириам; Хуан Диего не мог придумать ответа. – Если моя дочь восстановила свои речевые навыки, я хотела бы поговорить с ней. Или я могла бы передать вам сообщение, – продолжала Мириам, – а вы могли бы поделиться с Дороти, когда она придет в себя.

– Она в себе, – сказал Хуан Диего с крайне неуместным и преувеличенным достоинством.

Как нелепо было говорить подобное о ком бы то ни было. Почему Дороти не может быть в себе? В ком еще могла быть молодая женщина в постели с ним? – спрашивал себя Хуан Диего, передавая Дороти телефон.

– Какой сюрприз, мама, – лаконично сказала молодая женщина.

Хуан Диего не слышал, что Мириам говорила дочери, но был уверен, что Дороти лишнего не скажет.

Хуан Диего подумал, что, пока мать и дочь разговаривают, надо использовать этот момент, чтобы незаметно снять презерватив, но когда он скатился с Дороти и лег на бок, повернувшись к ней спиной, то обнаружил – к своему удивлению, – что презерватива на нем уже нет.

Все дело в сегодняшнем поколении – в этих молодых людях! – подумал Хуан Диего. Они могут не только достать презерватив из ниоткуда; они могут так же быстро удалить его. Но где он? – подумал Хуан Диего. Когда он повернулся к Дороти, девушка обхватила его сильными руками и прижала к своей груди. Он увидел обертку из фольги на ночном столике – прежде он ее не заметил, но самого презерватива нигде не было видно.

Хуан Диего, который когда-то называл себя «ревнителем деталей» (он имел в виду как романист), задавался вопросом, куда делся использованный презерватив: возможно, спрятан под подушкой Дороти или по небрежности затерялся в хаосе простыней. Возможно, подобное избавление от презерватива тоже было знаком этого поколения.

– Я в курсе, что у него ранний утренний рейс, мама, – говорила Дороти. – Да, я знаю, поэтому мы здесь и остановились.

Мне нужно пописать, думал Хуан Диего, а еще не забыть принять в ванной две таблетки лопресора. Но когда он попытался выскользнуть из тускло освещенной постели, сильная рука Дороти крепко ухватила его сзади за шею, прижав его лицом к той из грудей, что была к нему ближе.

– Но когда же наш рейс? – услышал он, как Дороти спросила мать. – Мы ведь не собираемся в Манилу, так? – Либо перспектива того, что Дороти и Мириам полетят с ним в Манилу, либо ощущение груди Дороти на его лице вызвали у Хуана Диего эрекцию. А потом он услышал, как Дороти сказала: – Ты шутишь, да? С каких это пор тебя ждут в Маниле?

О-о, подумал Хуан Диего, но если мое сердце выдержит такую молодую женщину, как Дороти, то я наверняка выдюжу в Маниле с Мириам. (По крайней мере, так он подумал.)

– Ну, он джентльмен, мама... разумеется, он не звал меня, – сказала Дороти, взяв руку Хуана Диего и прижимая ее ко второй груди, что была подальше. – Да, я сама ему позвонила. И не говори мне, что ты не думала об этом, – ядовито сказала молодая женщина.

Погруженный лицом в одну грудь, остро ощущая другую грудь плененной рукой, Хуан Диего вспомнил, что любила говорить Лупе – часто не по делу: «No es buen momento para un terremoto», – бывало, говорила она, то есть «это не самый подходящий момент для землетрясения».

– Сама иди в задницу, – сказала Дороти, бросая трубку.

Возможно, это был не самый хороший момент для землетрясения, но для Хуана Диего это также был бы не самый подходящий момент, чтобы отправиться в ванную.

– У меня есть мечта... – начал он, но Дороти вдруг села и толкнула его, так что он упал на спину.

– Ты не захочешь слышать, о чем я мечтаю, поверь мне, – сказала она.

Она свернулась калачиком, уткнувшись лицом ему в живот, но глядя куда-то в сторону; Хуан Диего снова смотрел на темноволосую голову Дороти. Когда Дороти начала играть с его пенисом, романист подумал о том, какие слова подходят для этого – для этой посткоитальной игры.

– Думаю, ты снова можешь это сделать, – говорила обнаженная девушка. – О'кей – может, не сразу, но довольно скоро. Только посмотрите на этого парня! – воскликнула она.

Тот был так же тверд, как и в первый раз, и молодая женщина без колебаний взобралась на него.

О-о, снова подумал Хуан Диего. Он думал только о том, очень ли он хочет писать, и когда он сказал: «Это не самый подходящий момент для землетрясения», то отнюдь не в переносном смысле.

– Я покажу тебе землетрясение, – сказала Дороти.

Романист проснулся с таким чувством, будто он умер и попал в ад; он давно подозревал, что если ад существует (в чем он сомневался), то там будет постоянно звучать плохая музыка – на пределе громкости соревнуясь с последними новостями на иностранном языке. Когда он проснулся, так оно и было, однако Хуан Диего все еще лежал в постели – в своем ярко освещенном ревущем номере отеля «Регал». В его комнате горел ослепительный свет; музыка по радио и новости по телевизору были включены на полную мощность.

Это, что ли, Дороти сделала, когда уходила? Что ли, она, уходя, придумала для Хуана Диего такой стремный будильник? Или, может, девушка ушла в приступе гнева. Хуан Диего не мог вспомнить. Он чувствовал, что спал крепче, чем когда-либо прежде, но не дольше пяти минут.

Он ударил по панели с кнопками на ночном столике, ушибив ребро правой ладони. Радио и телевизор зазвучали потише, так что он смог услышать телефонный звонок и взять трубку: кто-то кричал на него на каком-то азиатском языке (не важно, на каком именно).

– Простите, я вас не понимаю, – ответил Хуан Диего по-английски. – *Lo siento...* – начал он по-испански, но звонивший перебил его.

– Ты говнотик! – крикнул человек на каком-то азиатском языке.

– Я думаю, вы хотите сказать «говнюк», – ответил писатель, но звонивший в гневе бросил трубку.

Только тогда Хуан Диего заметил, что пакетики от первого и второго презервативов исчезли с его ночного столика; Дороти, должно быть, взяла их с собой или бросила в корзину для мусора.

Хуан Диего увидел, что второй презерватив все еще надет на его пенис; фактически это было единственным доказательством того, что он еще раз трахнул Дороти. Он не помнил, когда она снова уселась на него. Землетрясение, которое она ему обещала, затерялось во времени; а если молодая женщина и преодолела еще раз звуковой барьер, возопив на языке, который прозвучал как науатль (чего не могло быть), то этот момент не запечатлелся ни в памяти, ни во сне Хуана Диего.

Писатель знал только, что он спал и не видел снов – даже кошмаров. Хуан Диего встал с кровати и, хромя, пошел в ванную; то, что ему не хотелось писать, означало, что он уже это сделал. Он надеялся, что не помочился ни в постель, ни в презерватив, ни на Дороти, но когда он добрался до ванной, то увидел, что на флаконе с лопресором нет колпачка. Должно быть, он принял одну (или две) таблетки бета-блокатора, когда вставал пописать.

Но как давно это было? До или после ухода Дороти? И принял ли он только одну таблетку лопресора, как ему было предписано, или две, как он сам для себя решил? На самом деле, конечно, он не должен был принимать две. При пропущенном приеме положенного лекарства двойная доза бета-адреноблокаторов не рекомендовалась.

Снаружи уже занимался серый рассвет, не говоря уже о ярком свете в его гостиничном номере; Хуан Диего знал, что у него ранний утренний рейс. Он мало что распаковывал из вещей, так что забот у него было немного. Однако он был весьма тщателен при упаковке своих туалетных принадлежностей; на этот раз он положит предписанный лопресор (и виагру) в ручную кладь.

Он спустил второй презерватив в унитаз, но был расстроен тем, что не смог найти первый. И когда это он успел пописать? Теперь же ему в любой момент могла позвонить или постучать в дверь Мириам, сказав, что пора выходить; поэтому он откинул верхнюю простыню и заглянул под подушки, надеясь найти первый презерватив, – тщетно. Этой чертовой резинки не было и ни в одной из мусорных корзин – как и пакетика из фольги.

Хуан Диего стоял под душем, когда увидел первый – пропавший – презерватив, вращающийся вокруг отверстия слива в ванне. Тот расправился и напоминал утопшую личинку бабочки; единственным объяснением появления презерватива было то, что он, видимо, прилепился к спине писателя, либо к его заднице, либо сзади к ляжке.

Как же неловко! Он надеялся, что Дороти этого не заметила. Если бы он не принял душ, то, возможно, так и летел бы до Манилы с прилепленным презервативом.

К несчастью, он все еще был в душе, когда зазвонил телефон. Хуан Диего знал, что с людьми его возраста именно в ваннных комнатах и случаются всякие неприятности, а тем более с инвалидами его возраста. Хуан Диего выключил душ и почти изящно шагнул из ванны. Он был мокрым и знал, насколько скользкой может быть напольная плитка, но, когда он ухватился за полотенце, полотенцесушитель не захотел его отдавать; Хуан Диего дернул полотенце сильнее, чем следовало. Алюминиевую перекладину, предназначенную для полотенца, вырвало из стены вместе с куском керамики, к которой она крепилась. Керамика разбилась об пол, по мокрой плитке разлетелись полупрозрачные керамические осколки; алюминиевый стержень ударил Хуана Диего по лицу и рассек лоб над бровью. Так и не вытершись, Хуан Диего, с которого капало на пол, захромал в спальню, прижимая полотенце к кровоточащему лбу.

– Аллю! – крикнул он в трубку.

– Ну, вы проснулись, начнем с этого, – ответила Мириам. – Не дайте Дороти снова заснуть.

– Дороти здесь нет, – сказал Хуан Диего.

– Она не отвечает на звонки, так что, наверное, в душе, – сказала Мириам. – Вы готовы на выход?

– Как насчет десяти минут? – спросил Хуан Диего.

– Даю восемь, но попробуйте уложиться в пять – я зайду за вами, – сказала Мириам. – Затем прихватим Дороти – девицы ее возраста всегда копаются до последнего, – объяснила Мириам.

– Я буду готов, – пообещал Хуан Диего.

– С вами все в порядке? – спросила Мириам.

– Да, конечно, – ответил он.

– Не похоже, – сказала она и повесила трубку.

Не похоже? – подумал Хуан Диего. Он увидел, что запачкал кровью простыни; с его волос капала вода, разбавляя кровь из пореза на лбу. Вода красила кровь в розовый цвет, и крови получалось больше, чем должно было быть; порез был небольшой, но он продолжал кровоточить.

Да, порезы на лице сильно кровоточат – а Хуан Диего только что принял горячий душ. Он попытался вытереть кровь с кровати полотенцем, но крови на полотенце было еще больше, чем на простынях; он только все окончательно перепачкал. Сторона кровати, примыкающая к ночному столику, выглядела как место ритуального убийства на сексуальной почве.

Хуан Диего вернулся в ванную, где были кровь, и вода, и рассыпанные осколки керамики, отвалившейся от стены на месте крепления полотенцесушителя. Он подставил лицо под холодную воду, особенно лоб, чтобы остановить кровотечение. Естественно, у него был фактически пожизненный запас виагры и ненавистных бета-блокаторов – не забудем и мудреное устройство для резки таблеток, – но притом ни одного пластыря. В порядке временной меры он приклеил кусочек туалетной бумаги на кровоточащий, хотя и крошечный порез.

Когда Мириам постучала в дверь и он впустил ее, он был уже готов выходить – за исключением того, что еще не надел сшитый на заказ ботинок на свою искалеченную ногу. Это всегда было немного сложно; на это также требовалось какое-то время.

– Так, – сказала Мириам, подталкивая его к кровати, – позвольте я помогу вам.

Он сел на кровать в изножии, и Мириам принялась надевать на его больную ногу специальный ботинок; к его удивлению, она, казалось, знала, как это делается. И правда, это у нее вышло так мастерски и непринужденно, что в процессе обувания она даже успела рассмотреть и окровавленную постель.

– Это не потеря девственности и не убийство – не тот случай, – сказала Мириам, кивнув на ужасного вида, мокрые, в крови простыни. – Думаю, не имеет значения, что подумают горничные.

– Я порезался, – сказал Хуан Диего.

Разумеется, Мириам отметила пропитанную кровью туалетную бумагу, прилепленную ко лбу Хуана Диего над бровью.

– На травму от бритвы вроде не похоже, – сказала она; направилась к шкафу и заглянула внутрь, а затем подвигала ящики, где он мог забыть свою одежду. – Я всегда перед уходом прочесываю каждый гостиничный номер, – сказала она.

Он не мог помешать ей заглянуть и в ванную. Хуан Диего знал, что не оставил там никаких туалетных принадлежностей: ни виагры, ни таблеток лопресора – все это теперь в ручной кладь. Однако он вдруг вспомнил про первый презерватив, оставленный одиноко лежать в ванне у отверстия слива – уликой акта жалкой похоти.

– Привет, малыш-кондом, – услышал он голос Мириам из ванной; Хуан Диего все еще сидел в изножье окровавленной постели. – Полагаю, не имеет значения, что подумают горничные, – повторила Мириам, вернувшись в спальню, – но разве не принято спускать такие мелочи в унитаз?

– *Si*, – только и смог вымолвить Хуан Диего.

Не настроенный острить, как принято у мужчин, на подобные темы, он не стал бы оставливаться и на этой.

Должно быть, я принял две таблетки лопресора, подумал Хуан Диего; он чувствовал, что стал еще более заторможенным, чем обычно. Может, я смогу поспать в самолете, подумал он. Было еще слишком рано гадать, что может случиться с его снами. Хуан Диего так устал, что надеялся лишь на бета-блокаторы, способные мгновенно свести к минимуму его жизнь во сне.

– Моя мать вас ударила? – спросила его Дороти, когда Хуан Диего и Мириам добрались до номера молодой женщины.

– Нет, Дороти, – ответила ее мать.

Мириам уже начала прочесывать комнату дочери. Дороти была полуодета – лишь в юбке и лифчике, ни блузки, ни свитера. Ее открытый чемодан лежал на кровати. (Достаточно вместительный даже для большой собаки.)

– Несчастный случай в ванной, – только и сказал Хуан Диего, указывая на туалетную бумагу, прилепленную ко лбу.

– Думаю, кровотечение остановилось, – сказала Дороти. Встав в лифчике перед ним, она принялась отковыривать туалетную бумагу; когда Дороти оторвала ее, маленький порез на лбу снова начал кровоточить, но чуть-чуть – так что она смогла остановить кровотечение, лизнув указательный палец и надавив им над бровью. – Просто стойте спокойно, – сказала молодая женщина, пока Хуан Диего старался не смотреть в ее соблазнительный лифчик.

– Ради бога, Дороти, оденься наконец, – сказала мать.

– И куда мы направляемся – я имею в виду всех нас? – не совсем наивно поинтересовалась молодая женщина у своей матушки.

– Сначала оденься, потом я тебе скажу, – ответила Мириам. – Ой, чуть не забыла, – вдруг обратилась она к Хуану Диего. – У меня ведь маршрут вашей поездки, я должна вернуть его. – Хуан Диего вспомнил, что Мириам взяла у него маршрут, когда они еще были в аэропорту Кеннеди; он и забыл про это. Теперь Мириам отдала его. – Я сделала там несколько пометок – где вам следует остановиться в Маниле. Не в этот раз – в этот раз вы там пробудете недолго, так что не имеет значения, где вы остановитесь. Но, поверьте мне, вам там не понравится. Когда вернетесь в Манилу – я имею в виду, на обратном пути, когда вы задержитесь подольше, – в общем, я вам сделала кое-какие предложения насчет того, где лучше остановиться. И я скопировала для нас ваш маршрут, – сказала Мириам, – чтобы мы могли контролировать вас.

– Для нас? – с сомнением переспросила Дороти. – Или ты имеешь в виду – для тебя?

– Для нас... я сказала «нас», Дороти, – пояснила Мириам дочери.

– Надеюсь, мы еще увидимся, – неожиданно сказал Хуан Диего. – С вами обеими, – неловко добавил он, потому что смотрел только на Дороти.

Девушка надела блузку, но не стала застегивать; она посмотрела на свой пупок, потом потыкала в него пальцем.

– О, вы увидите нас снова – определенно, – сказала ему Мириам, заглянув в ванную, чтобы прочесать и ее.

– Да, определенно, – подтвердила Дороти, все еще в расстегнутой блузке, по-прежнему занимаясь пупком.

– Застегни пуговицы, ради бога, Дороти, – на блузке же есть пуговицы! – крикнула из ванной ее мать.

– Я ничего не оставила, мама, – отозвалась Дороти в сторону ванной. Уже застегнувшись, молодая женщина быстро поцеловала Хуана Диего в губы. Он увидел у нее в руке маленький конверт, похожий на гостиничный. Дороти сунула конверт в карман его пиджака. – Не читай сейчас – потом прочтешь. Это любовное письмо! – прошептала девушка; ее язык вонзился между его губ.

– Ты меня удивляешь, Дороти, – говорила Мириам, возвращаясь в спальню. – Хуан Диего устроил больше беспорядка в ванной, чем ты.

– Я живу, чтобы удивлять тебя, мама, – сказала девушка.

Хуан Диего неуверенно улыбнулся им. Он всегда представлял себе эту поездку на Филиппины как своего рода сентиментальное путешествие – в том смысле, что это не поездка, в которую отправляются для себя. По правде сказать, он долго считал, что совершает эту поездку ради кого-то другого – ради друга, который хотел отправиться в это путешествие, но так и умер, прежде чем собрался.

И все же путешествие, в которое отправился Хуан Диего, оказалось неотделимым от Мириам и Дороти, и разве оно не было поездкой, которую он совершал исключительно ради самого себя?

– А вы... куда именно вы вдвоем направляетесь? – отважился спросить Хуан Диего мать и дочь, этих, несомненно, ветеранов турне по всему миру.

– Черт возьми – у нас дел как дерьма! – мрачно сказала Дороти.

– Обязательств, Дороти; твоё поколение злоупотребляет словом «дерьмо», – заметила Мириам.

– Увидимся раньше, чем вы думаете, – сказала Дороти Хуану Диего. – Мы окажемся в Маниле, но не сегодня, – загадочно добавила она.

– Так или иначе мы увидимся в Маниле, – нетерпеливо объяснила ему Мириам. И добавила: – Если не раньше.

– Если не раньше, – повторила Дороти. – Да-да!

Молодая женщина резко подняла с кровати свой чемодан, опередив порыв Хуана Диего помочь ей; это был большой тяжёлый чемодан, но Дороти вскинула его так, словно он ничего не весил. С внезапной сердечной болью Хуан Диего вспомнил, как молодая женщина подняла его за плечи, полностью оторвав от кровати, и затем перевернула на себя.

Какая сильная девушка! – это было все, о чем подумал Хуан Диего. Он повернулся, чтобы взять свой чемодан, а не ручную кладь, и с удивлением увидел, что Мириам взяла его вместе со своей большой сумкой. Какая сильная мать! – подумал Хуан Диего. Хромая, он вышел в коридор гостиницы, стараясь не отставать от двух женщин; он едва замечал, что почти совсем и не хромает.

Вот что было странно: когда они проходили досмотр в Международном аэропорту Гонконг, посреди разговора, который он потом не мог вспомнить, Хуан Диего оказался впереди Мириам и Дороти. Он подошел к рамке металлодетектора и, оглянувшись на Мириам, которая снимала туфли, увидел, что у нее педикюр такого же цвета, как и у Дороти. Затем он миновал рамку и снова искал глазами своих спутниц, но не нашел их – Мириам и Дороти исчезли; они просто (или не совсем просто) испарились.

Хуан Диего спросил одного из охранников о двух женщинах, с которыми он приехал. Куда они подевались? Но охранник, нетерпеливый молодой человек, был озабочен очевидными неполадками в работе рамки металлодетектора.

– Что за женщины? Какие женщины? Я видел целую цивилизацию женщин – они, должно быть, уже прошли! – сказал ему охранник.

Хуан Диего подумал, что попытается написать или позвонить им по мобильному телефону, но оказалось, что он забыл взять номера их мобильных. Он просмотрел свои контакты, тщетно ища имена этих женщин. Среди заметок, которые сделала Мириам в маршруте его следования, также не нашлось ни ее, ни Дороти номеров телефона, – одни только названия и адреса альтернативных отелей Манилы.

Что там за дела у Мириам в Маниле, когда он «вернется» туда, подумал Хуан Диего, но он перестал думать об этом и медленно направился к выходу на посадку на рейс до Манилы – впервые в жизни, подумал он (если вообще думал об этом). Он невероятно устал.

«Должно быть, это бета-блокаторы, – размышлял Хуан Диего. – Думаю, мне не стоило принимать две таблетки, если только я их действительно принял».

Даже кекс с зеленым чаем на рейсе «Катай-Пасифик» – теперь в гораздо меньшем по размерам самолете – отчасти разочаровал. Не сравнить с возвышенными вкусовыми ощущениями от того первого кекса с зеленым чаем, когда он, Мириам и Дороти летели в Гонконг.

Самолет уже был в воздухе, когда Хуан Диего вспомнил о любовном письме, которое Дороти положила ему в карман пиджака. Он достал конверт и открыл его.

«Скоро увидимся!» – написала Дороти на почтовом бланке отеля «Регал». Она прижала губы – видимо, со свежей помадой – к листку бумаги, оставив их отпечаток в интимной близости со словом «скоро». Ее помада, как только теперь он заметил, была такого же цвета, что и лак для педикюра – у нее и у матери. Хуан Диего подумал, что назвал бы этот цвет маджентой.

Он не мог также не заметить того, что еще было в конверте с так называемым любовным письмом: два пустых пакетика из фольги, от первого и второго презервативов. Возможно, что-то было не так с рамкой металлодетектора в Гонконге, подумал Хуан Диего; устройство не обнаружило эту металлосодержащую упаковку. Определенно, подумал Хуан Диего, это было не совсем то сентиментальное путешествие, которое ему представлялось, но он уже был в пути далеко, и назад дороги не было.

9

Если вам интересно узнать

У Эдварда Боншоу на лбу был шрам в форме латинской буквы «L» – из-за падения в детстве. Он споткнулся о спящую собаку, когда бежал, держа в руке игральную кость от маджонга. Маленькая фишка «бамбук» была сделана из слоновой кости; угол красивой фишки вонзился в бледный лоб Эдварда над переносицей, оставив между светлыми бровями идеальную отметку.

Он сел, но встать не смог, – так закружилась голова. Кровь струилась между глаз и капала с кончика носа. Проснувшаяся собака завилала хвостом и лизнула истекающего кровью мальчика в лицо.

Внимание ласковой собаки успокоило Эдварда. Мальчику было семь лет; отец называл его «маменькиным сынком» только лишь потому, что Эдвард с неприязнью относился к охоте.

– Зачем стрелять в живых существ? – спрашивал он отца.

Собака тоже не любила охоту. Лабрадор-ретривер, она по оплошности еще щенком упала в соседский бассейн и чуть не утонула; после этого она стала бояться воды, что ненормально для лабрадора. Так же «ненормально», по неколебимому убеждению отца-диктатора Эдварда, было то, что охотничья собака, которая по самому названию породы должна находить и приносить¹³, ничего подобного не делала. (Не приносила ни мячик, ни палку – не говоря уже об убитой пернатой дичи.)

– А что случилось с лабрадором, который к тому же ретривер? Разве «ретривер» не означает, что собака должна искать и приносить добычу? – обычно спрашивал жестокий дядя Эдварда по имени Йен.

Но Эдвард любил неретриверного ретривера, то есть ничего не находящего и не приносящего, никогда не плававшего «лабика», и славная собака обожала мальчика, они оба были «трусоваты», по суровому умозаключению отца Эдварда Грэма. В глазах юного Эдварда брат его отца – задиристый дядя Йен – был злобной скотиной.

Это все присказка, без которой не понять, что произошло дальше. Отец Эдварда и дядя Йен охотились на фазанов; они вернулись с двумя убитыми птицами и ввалились на кухню через дверь гаража.

Все случилось в их доме в Коралвилле, в то время – отдаленном пригороде Айова-Сити. Эдвард, с окровавленным лицом, сидел на кухонном полу, где, как им померещилось, никогда ничего не находившая и никогда не плававшая лабрадорша грызла мальчика, начав с головы. Мужчины ворвались на кухню с чесапикским ретривером дяди Йена, подружейной собакой – кобелем агрессивного нрава, дурным и непредсказуемым.

– Гребаная Беатрис! – заорал отец Эдварда.

Грэм Боншоу назвал лабрадоршу Беатрис – самым насмешливым женским именем, какое только мог себе представить; дядя Йен сказал, что это имя подходит собаке, которую следует стерилизовать – «чтобы она не размножалась и не ухудшала благородную породу».

Двое охотников оставили Эдварда сидеть на кухонном полу, а сами вывели Беатрис на улицу и застрелили на подъездной дорожке.

Вряд ли кому хотелось услышать такую историю от Эдварда Боншоу, когда он в своей дальнейшей жизни, указав на L-образный шрам на лбу, говорил с обезоруживающим безразличием: «Если вам интересно узнать про мой шрам...» – и в результате излагал сюжет жестокого убийства Беатрис, собаки, которую обожал юный Эдвард, собаки с самым чудесным, какой только можно себе представить, нравом.

¹³ Ретривер (от *англ.* to retrieve – находить, доставать) – порода охотничьих собак.

И все эти годы, вспомнил Хуан Диего, сеньор Эдуардо хранил симпатичную маленькую игральную кость от маджонга, навсегда отметившую его светлый лоб.

Что было причиной этого кошмарного воспоминания, связанного с Эдвардом Боншоу, которого так горячо и навсегда полюбил Хуана Диего? Может, несерьезная ссадина на его лбу от полотенцесушителя, которая наконец перестала кровоточить? А может, слишком короткий перелет из Гонконга в Манилу, не позволивший Хуану Диего спокойно поспать? Хотя это был отнюдь не короткий перелет, как ему казалось, но Хуан Диего испытывал какое-то беспокойство и два часа кряду промучился в полудреме, видя лишь обрывки снов. Разрозненность этих снов и отсутствие всякой последовательности в сюжетах были еще одним доказательством того, что он принял двойную дозу бета-блокаторов.

Весь полет до Манилы ему снилось одно и то же – прежде всего ужасная история шрама Эдварда Боншоу. Именно этого и следует ожидать после приема двух таблеток лопресора! Однако, несмотря на усталость, Хуан Диего был рад, что ему вообще что-то снится, пусть даже бессвязно. Именно в своем прошлом он жил более чем уверенно, явно чувствуя и зная, кто он такой – помимо того, что писатель.

В разрозненных снах подчас слишком много диалогов и все происходит стремительно и без предупреждения. Кабинеты врачей в «Cruz Roja», в больнице Красного Креста в Оахаке, были непонятно почему расположены рядом с отделением первой помощи – это была либо чья-то плохая идея, либо дурная планировка, либо и то и другое вместе. Девочку, которую укусила одна из собак, живущих на крышах Оахаки, – «собак крыш», доставили в ортопедический кабинет доктора Варгаса вместо пункта первой помощи, хотя у нее были раны на кистях рук и предплечьях, когда она пыталась защитить лицо, а никаких очевидных ортопедических проблем не было. Доктор Варгас был ортопедом, но он лечил циркачей (в основном маленьких артистов), детей свалки и сирот из приюта «Дом потерянных детей» и от других болезней.

Варгаса возмущало, что искусанная собакой жертва была доставлена к нему.

– С тобой все будет хорошо, – повторял он плачущей девочке. – Она должна быть в отделении первой помощи, а не у меня, – твердил Варгас потерявшей голову матери этой девочки.

Все, кто был в приемном покое, сочувствовали искусанной девочке – включая Эдварда Боншоу, который только что приехал в город.

– Что это за собаки на крыше? – спросил сеньор Эдуардо брата Пепе. – Надеюсь, речь не о породе собак!

Они последовали за доктором Варгасом в смотровую. Хуана Диего везли на каталке.

Лупе залопотала о чем-то, что ее раненый брат не был склонен переводить. Лупе же говорила, что некоторые из «собак крыш» были духами – настоящими призраками собак, которых умышленно мучили и убивали. Собаки-призраки обитают на городских крышах, нападая на невинных людей, потому что самих невинных собак убивали ни за что, и теперь они мстят. Собаки живут на крышах, потому что умеют летать; потому что они теперь собаки-призраки, и больше никто не может причинить им вред.

– Это слишком длинный ответ! – заметил Хуану Диего Эдвард Боншоу. – Что она сказала?

– Вы правы, это не порода, – единственное, что ответил новому миссионеру Хуан Диего.

– В основном это дворняги. В Оахаке много бродячих собак, некоторые из них одичавшие. Они просто бегают по крышам – никто не знает, как собаки туда попадают, – пояснил брат Пепе.

– Они не летают, – добавил Хуан Диего, но Лупе продолжала лопотать свое.

Теперь они были в смотровой вместе с доктором Варгасом.

– А что с тобой случилось? – спросил доктор Варгас у непонятно что лопочущей девочки. – Просто успокойся и говори медленно, чтобы я тебя понял.

– Это я пациент – она просто моя сестра, – сказал Хуан Диего молодому доктору. Возможно, Варгас просто не заметил каталку.

Брат Пепе успел объяснить доктору Варгасу, что тот раньше уже осматривал этих детей, но у Варгаса проходило перед глазами слишком много пациентов – ему было непросто всех запомнить. А боль Хуана Диего утихла, на какой-то момент он перестал стонать.

Доктор Варгас был молод и красив; от него исходила аура неумеренного величия, что иногда объясняется успешной карьерой. Он привык к тому, что всегда прав. Чья-то некомпетентность легко выводила Варгаса из себя, хотя впечатлительный молодой человек слишком уж быстро высказывал свое мнение о людях, которых видел впервые в жизни. Все знали, что доктор Варгас был самым признанным хирургом-ортопедом в Оахаке; калеки были его специальностью – и кто еще заботился, как он, о детях-калеках? И все же Варгас не умел правильно с ними общаться. Дети обижались на него, потому что Варгас не помнил, кто есть кто; взрослые считали его высокомерным.

– Так это ты пациент, – сказал доктор Варгас Хуану Диего. – Расскажи мне о себе. Только не о том, что касается детей свалки. Я понял, откуда ты, по запаху, я знаю о *basurero*. Я имею в виду – расскажи о том, что касается твоей ноги, просто расскажи мне о ней.

– То, что касается моей ноги, касается и ребенка со свалки, – сказал Хуан Диего доктору. – Грузовик в Герреро с грузом меди из *basurero* переехал мою ногу – с тяжелым грузом.

Иногда Лупе говорила как по пунктам; это был один из таких случаев.

– Первое: этот доктор – грустный лох, – начала ясновидящая девочка. – Второе: ему стыдно, что он жив. Третье: он считает, что должен был умереть. Четвертое: он собирается сказать, что тебе нужен рентген, но он просто тянет время – он уже знает, что не сможет исправить твою ногу.

– Звучит немного похоже на язык сапотеков или миштеков, но это не так, – заявил доктор Варгас; он не спрашивал Хуана Диего, что сказала его сестра, но (как и все остальные) Хуан Диего недолюбливал молодого доктора, поэтому решил передать ему все, что произнесла Лупе.

– Она все это сказала? – спросил Варгас.

– Обычно она права насчет прошлого, – сказал Хуан Диего. – Будущее она читает не так точно.

– Тебе действительно нужен рентген; я, вероятно, не смогу исправить твою ногу, но я сначала должен сделать рентген, прежде чем дать окончательный ответ, – сказал доктор Варгас. – Ты привел нашего друга-иезуита, надеясь на Божью помощь? – спросил доктор, кивая на брата Пепе. (В Оахаке все знали Пепе; почти столько же людей слышали и о докторе Варгасе.)

– Моя мама – уборщица у иезуитов, – сообщил Хуан Диего Варгасу. Затем мальчик кивнул на Риверу. – А это тот, кто за нами присматривает. *El jefe*... – хотел продолжать мальчик, но Ривера перебил его.

– Я вел тот грузовик, – с виноватым видом сказал хозяин свалки.

Лупе принялась в который раз рассказывать о разбитом боковом зеркале, но Хуан Диего не потрудился это переводить. Вдобавок Лупе уже пошла дальше, сообщив новые детали относительно того, почему доктор Варгас такой грустный лох.

– Варгас напился и проспал свой самолет. Он опоздал и не отправился в путешествие вместе со своей семьей. Дурацкий самолет разбился. На борту были его родители, его сестра с мужем и двумя детьми. Все погибли! – крикнула Лупе. – Варгас все это проспал, – добавила она.

– Какой напряженный голос, – сказал Варгас Хуану Диего. – Мне нужно проверить ее горло. Возможно, дело в голосовых связках.

Хуан Диего сказал доктору Варгасу, что сожалеет об авиакатастрофе, в которой погибла вся семья молодого врача.

– Это она тебе сказала? – спросил Варгас мальчика.

Лупе не переставала лопотать: дескать, Варгас унаследовал дом своих родителей и все их имущество. Его родители были «очень набожны»; долгое время причиной семейных трений было то, что Варгас «не набожен». Теперь молодой доктор был «менее набожен», сказала Лупе.

– Послушай, Лупе, как он может быть «менее набожен», когда он не был «набожен»? – спросил Хуан Диего сестру.

Но девочка только пожала плечами. Ей становилось известно лишь что-то конкретное – сообщения приходили к ней, как правило, без объяснений. «Я просто говорю тебе то, что мне ясно, – всегда говорила Лупе. – Не спрашивай меня, что это значит».

– Подожди, подожди, подожди! – встрял в разговор Эдвард Боншоу. – Кто не был набожен и стал менее набожным? Я знаю этот синдром, – сказал Эдвард Хуану Диего.

Хуан Диего передал по-английски сеньору Эдуардо все, что Лупе сообщила ему о докторе Варгасе; даже брат Пепе не знал полностью данной истории. Все это время Варгас продолжал осматривать сломанную и искореженную ногу мальчика. Хуану Диего стал отчасти нравиться доктор Варгас; раздражающая способность Лупе угадывать прошлое незнакомого человека (и в меньшей степени его будущее) помогала Хуану Диего отвлечься от боли, и мальчик оценил, как Варгас воспользовался этим, чтобы осмотреть его.

– Где ребенок свалки учится английскому? – спросил по-английски доктор Варгас брата Пепе. – Ваш английский не так хорош, Пепе, но я полагаю, что это вы приложили руку к обучению мальчика.

– Он научился сам, Варгас; говорит, понимает, читает, – ответил Пепе.

– Это дар, который нужно пестовать, Хуан Диего, – сказал Эдвард Боншоу мальчику. – Я очень сожалею о вашей семейной трагедии, доктор Варгас, – добавил сеньор Эдуардо. – Я кое-что знаю о семейных невзгодах...

– Кто этот гринго? – резко спросил по-испански Варгас у Хуана Диего.

– *El hombre papagayo*, – сказала Лупе. («Человек-попугай».)

Хуан Диего расшифровал это для Варгаса.

– Эдвард – наш новый учитель, – объяснил брат Пепе доктору Варгасу. – Из Айовы, – добавил он.

– Эдуардо, – сказал Эдвард Боншоу; айовец протянул руку Варгасу и только тогда увидел резиновые перчатки на руках доктора – перчатки были испачканы кровью из нелепо сплюсненной ноги мальчика.

– Вы уверены, что он не с Гавайев, Пепе? – спросил Варгас. (Невозможно было не заметить горластых попугаев на гавайской рубашке нового миссионера.)

– Уверен, как и вы, доктор Варгас, – начал Эдвард Боншоу, резонно передумав пожимать руку молодому доктору. – Хотя мою веру одолевали сомнения.

– У меня никогда не было веры – следовательно, никаких сомнений, – ответил Варгас; его английский был комковатый, но правильный, – в нем не было ничего сомнительного. – Вот что мне нравится в рентгеновских лучах, Хуан Диего, – продолжал доктор Варгас на своем вполне толковом английском. – Они не религиозны – на самом деле рентгеновские лучи отнюдь не так двусмысленны, как многие элементы, которые я могу себе представить в данный момент. Ты являешься ко мне раненый и с двумя иезуитами. С тобой твоя прорицательница-сестра, которая – как ты сам говоришь – более права насчет прошлого, чем насчет будущего. Приходит твой уважаемый шеф – хозяин свалки, который присматривает за тобой и тебя переезжает. – (К счастью для Риверы, свое мнение Варгас высказал на английском, а не на испанском, потому что и без того самочувствие Риверы из-за этой беды было достаточно скверным.) – И то, что рентгеновские лучи покажут нам, – это пределы того, что можно сделать для твоей ноги. Я говорю с медицинской точки зрения, Эдвард, – сделав паузу, сказал Варгас, посмотрев не только на Эдварда Боншоу, но и на брата Пепе. – Что касается Божьей помощи, то я оставляю ее вам, иезуитам.

– Эдуардо, – поправил Эдвард Боншоу доктора Варгаса.

У отца сеньора Эдуардо, Грэма (убийцы собаки), второе имя было Эдвард – это было веской причиной, почему Эдвард Боншоу предпочитал зваться Эдуардо, что очень нравилось и Хуану Диего.

Варгас выдал экспромт брату Пепе – на этот раз по-испански:

– Эти дети свалки живут в Герреро, и их мать убирает в храме Общества Иисуса – как это по-иезуитски! И полагаю, что она также убирает в «Niños Perdidos»?

– *Si*, в детском приюте тоже, – ответил Пепе.

Хуан Диего был на грани того, чтобы сказать Варгасу, что Эсперанса, его мать, не только уборщица, но то, чем еще занята Эсперанса, было сомнительно (в лучшем случае), а мальчик знал, какого низкого мнения молодой доктор о сомнительном.

– Где сейчас твоя мать? – спросил доктор Варгас. – Она сейчас наверняка не занята уборкой.

– Она в храме, молится за меня, – сказал Хуан Диего.

– Давайте сделаем рентген, давайте двигаться дальше, – предложил доктор Варгас; было видно, что ему пришлось сдержаться от непочтительного комментария по поводу силы молитвы.

– Спасибо, Варгас, – сказал брат Пепе; он говорил с такой нехарактерной для него неискренностью, что все посмотрели на него – даже Эдвард Боншоу, который совсем недавно познакомился с ним. – Спасибо, что вы прилагаете такие усилия, чтобы уберечь нас от вашего стойкого атеизма, – добавил Пепе.

– Я вас и берегу, Пепе, – ответил ему Варгас.

– Безусловно, отсутствие веры – это ваше личное дело, доктор Варгас, – сказал Эдвард Боншоу. – Но, может быть, сейчас не лучшее время для этого – ради мальчика, – добавил новый миссионер, считавший отсутствие у кого-либо веры своим личным делом.

– О'кей, сеньор Эдуардо, – сказал Хуан Диего айовцу на своем почти идеальном английском. – Я тоже не очень-то верующий – я не намного более верующий, чем доктор Варгас.

Но Хуан Диего был более верующим, чем полагал. У него были сомнения насчет церкви – в том числе насчет взаимоотношений местных Дев, – но чудеса интриговали его. Он был открыт для чудес.

– Не говори так, Хуан Диего, ты слишком молод, чтобы отказываться от веры, – сказал Эдвард.

– Ради мальчика, – сказал Варгас на своем комковато звучащем английском, – возможно, сейчас лучше положиться на реальность, чем на веру.

– Лично я не знаю, во что верить, – начала Лупе, не обращая внимания на то, понимает ли ее хоть кто-нибудь. – Я хочу верить в Деву Гваделупскую, но только посмотрите, как она позволяет помыкать собой, – посмотрите, как Дева Мария манипулирует ею! Как можно доверять Гваделупке, когда она позволяет Марии-монстру быть ее хозяйкой?

– Гваделупка позволяет Марии топтать ее, Лупе, – сказал Хуан Диего.

– Эй! Стоп! Не говори так! – воскликнул Эдвард Боншоу. – Ты слишком молод, чтобы быть циничным. – (Когда речь шла о религии, новый миссионер понимал испанский лучше, чем могло показаться поначалу.)

– Давайте сделаем рентген, Эдуардо, – сказал доктор Варгас. – Давайте двигаться дальше. Эти дети живут в Герреро и работают на свалке, пока их мать убирает за вами. Разве это не цинизм?

– Давайте двигаться дальше, Варгас, – сказал брат Пепе. – Давайте сделаем рентген.

– Это хорошая свалка! – заявила Лупе. – Скажи Варгасу, Хуан Диего, что мы любим эту свалку. С Варгасом и человеком-попугаем мы закончим в «Потерянных детях»! – закричала Лупе, но Хуан Диего ничего не перевел, он молчал.

– Давайте сделаем рентген, – сказал мальчик. Он просто хотел все узнать о своей ноге.

– Варгас думает, что нет смысла оперировать твою ногу, – сообщила ему Лупе. – Варгас считает, что, если кровоснабжение нарушено, ему придется ампутировать ее! Он думает, что ты не сможешь жить в Герреро с одной ногой или хромым! По всей вероятности, Варгас считает, что твоя нога заживет сама по себе под прямым углом – навсегда. Ты снова будешь ходить, но только через несколько месяцев. Ты навсегда останешься хромым – вот что он думает. Варгас удивляется, почему здесь этот человек-попугай, а не наша мать. Скажи ему, что я знаю его мысли! – закричала Лупе брату.

Хуан Диего кивнул:

– Я скажу вам с ее слов, о чем вы думаете.

И он выложил Варгасу все, что говорила Лупе, выразительно помолчав, прежде чем перевести это на английский для Эдварда Боншоу.

Варгас заговорил с братом Пепе, как будто они были одни:

– Ваш ребенок со свалки говорит на двух языках, а его сестра читает мысли. В цирке им было бы лучше, Пепе. Они не должны жить в Герреро и работать на свалке.

– Цирк? – произнес Эдвард Боншоу. – Он сказал «цирк», Пепе? Они же дети! Они не животные! Действительно ли детский приют может позаботиться о них? Мальчик – калека! Девочка не может говорить!

– Лупе много говорит! Она чересчур говорлива, – сказал Хуан Диего.

– Они не животные! – снова повторил сеньор Эдуардо.

Возможно, именно слово «животные» (даже по-английски) заставило Лупе внимательнее присмотреться к человеку-попугаю.

О-о, подумал брат Пепе. Да поможет нам Бог, если сумасшедшая девочка прочитает *его* мысли!

– Цирк обычно заботится о своих детях, – сказал доктор Варгас по-английски айовцу, мимоходом взглянув на убитого горем Риверу. – Эти дети могут выступать в интермедии...

– В интермедии! – возопил сеньор Эдуардо, заламывая руки; возможно, именно так он заламывал руки, когда был семилетним мальчиком, потому что Лупе увидела его таким и начала плакать.

– О нет! – всхлипнула Лупе и прижала руки к глазам.

– Еще что-то прочла? – с напускным безразличием спросил Варгас.

– Эта девочка действительно читает мысли, Пепе? – спросил Эдвард.

О, надеюсь, не сейчас, подумал Пепе, а вслух сказал:

– Мальчик научился читать на двух языках. Мы можем помочь мальчику – подумать о нем, Эдвард. Девочке мы помочь не можем, – тихо добавил Пепе по-английски, хотя Лупе не услышала бы его, даже если бы он сказал это на *español*.

Девочка снова закричала:

– О нет, нет! Они застрелили его собаку! Его отец и дядя – они убили бедную собаку человека-попугая! – проверещала Лупе своим сиплым фальцетом.

Хуан Диего знал, как его сестра любит собак; она либо не могла, либо не хотела больше говорить – она безутешно рыдала.

– А сейчас что происходит? – спросил Хуана Диего айовец.

– У вас была собака? – спросил мальчик сеньора Эдуардо.

Эдвард Боншоу упал на колени.

– Пресвятая Богоматерь милостивая – благодарю тебя за то, что ты привела меня туда, где мне место! – воскликнул новый миссионер.

– Думаю, у него была собака, – сказал по-испански доктор Варгас Хуану Диего.

– Собака умерла – кто-то застрелил ее, – как можно тише произнес мальчик.

Из-за плача Лупе и громогласных благодарений айовца Деве Марии маловероятно, чтобы кто-то еще слышал короткий диалог – или что-то вроде того – между врачом и пациентом.

– Вы знаете кого-нибудь в цирке? – спросил Хуан Диего доктора Варгаса.

– Я знаю человека, которого ты должен узнать в свое время, – сказал Варгас. – Нам нужно подключить твою мать... – Варгас увидел, как Хуан Диего инстинктивно закрыл глаза. – Или, может быть, Пепе... нам нужно его одобрение этой идеи, если не согласие твоей мамы.

– *El hombre papagayo*... – начал Хуан Диего.

– Я не лучший вариант для конструктивного разговора с человеком-попугаем, – перебил своего пациента доктор Варгас.

– Его собака! Они застрелили его собаку! Бедная Беатрис! – рыдала Лупе.

Несмотря на неестественную и невоспринимаемую речь Лупе, Эдвард Боншоу смог разобрать слово «Беатрис».

– Ясновидение – это дар от Бога, Пепе, – сказал Эдвард своему коллеге. – Девочка действительно провидица? Вы употребляли это слово.

– Забудьте о девочке, сеньор Эдуардо, – тихо проговорил брат Пепе, опять же по-английски. – Подумайте о мальчике – мы можем спасти его или помочь ему спастись. Мальчик спасаемый.

– Но девочке что-то известно... – начал айовец.

– Это «что-то» не поможет ей, – быстро сказал Пепе.

– Разве сиротский приют не может принять этих детей? – спросил брата Пепе сеньор Эдуардо.

Пепе беспокоили монахини в «Потерянных детях»; дело даже не в том, что им могли не понравиться дети свалки, – заведомой проблемой была Эсперанса, их мать-уборщица-подрабатывающая-по-ночам. Но Пепе лишь сказал:

– *Sí*, «Niños Perdidos» примет детей.

И тут Пепе сделал паузу – он гадал, что сказать дальше, и сомневался, стоит ли это говорить.

Никто из них не заметил, когда Лупе перестала плакать.

– *El circo*, – произнесла ясновидящая, указывая на брата Пепе. – Цирк.

– Что насчет цирка? – спросил Хуан Диего сестру.

– Брат Пепе считает, что это хорошая идея, – ответила Лупе.

– Пепе считает, что цирк – хорошая идея, – сказал всем Хуан Диего на английском и испанском языках.

Но Пепе не выглядел таким уж уверенным на сей счет.

На этом разговоры временно прекратились. Просвечивание рентгеновскими лучами заняло много времени, в основном потому, что пришлось долго ждать заключения рентгенолога; ожидание настолько затянулось, что уже не оставалось сомнений относительно того, какой будет результат. (Варгас уже подумал об этом, а Лупе уже поделилась со всеми его мыслями.)

Пока ждали ответа от рентгенолога, Хуан Диего решил, что ему на самом деле нравится доктор Варгас. Лупе пришла к несколько иному выводу: девочку в основном восхищал сеньор Эдуардо – и не только из-за того, что случилось с его собакой, когда ему было семь лет. Девочка так и заснула, положив голову на колени Эдварду Боншоу. То, что всевидящий ребенок привязался к нему, укрепило в новом учителе благое намерение; айовец смотрел на брата Пепе с таким видом, как будто хотел сказать: «И вы считаете, что мы не можем спасти ее? Конечно можем!»

О Господи, молился Пепе, какой опасный путь ждет нас впереди, полный безумия и неизвестности! Пожалуйста, направь нас!

Доктор Варгас, сидевший рядом с Эдвардом Боншоу и братом Пепе, слегка коснулся головы спящей девочки.

– Я хочу взглянуть на ее горло, – пояснил молодой врач.

Он сказал им, что попросил свою медсестру связаться с коллегой, чей офис также находился в больнице «Cruz Roja». Доктор Гомес была специалистом по уху, горлу и носу – было бы идеально, если бы она могла взглянуть на гортань Лупе. Но если доктор Гомес не сможет сама посмотреть, то она, по крайней мере, одолжит Варгасу необходимые инструменты. Там нужны были особая лампочка и маленькое зеркало, которое приставлялось к задней стенке горла.

– *Nuestra madre*, – сказала Лупе во сне. – Наша мать. Пусть осмотрят ее горло.

– Она не проснулась – Лупе всегда разговаривает во сне, – сказал Ривера.

– О чем она говорит, Хуан Диего? – спросил мальчика брат Пепе.

– О нашей матери, – ответил Хуан Диего. – Лупе может читать ваши мысли даже во сне, – предупредил он Варгаса.

– Расскажите мне, Пепе, побольше о матери Лупе, – предложил Варгас.

– Ее мать говорит так же неразборчиво, но не всегда, – ее невозможно понять, когда она волнуется или когда молится. Но Эсперанса, конечно, опытней, – попытался дать намек Пепе, не уточняя, что именно он имел в виду. Он изо всех сил старался объясниться как на английском, так и на испанском. – Когда Эсперанса хочет, ее все понимают – иногда она доступна для понимания. Время от времени Эсперанса работает проституткой! – выпалил Пепе, удивившись, что Лупе все еще спит. – А этот ребенок, эта невинная девочка – она ведь никому не может сообщить, что она имеет в виду, кроме как своему брату.

Доктор Варгас посмотрел на Хуана Диего, который просто кивнул; Ривера тоже кивнул – хозяин свалки кивал и плакал. Варгас спросил Риверу:

– Когда она была младенцем и когда она была маленьким ребенком, у Лупе были какие-либо расстройства дыхания – что-нибудь, о чем вы можете вспомнить?

– У нее был круп, она кашляла и кашляла, – всхлипывая, сказал Ривера.

Когда брат Пепе посвятил Эдварда Боншоу в историю с крупом у Лупе, айовец произнес:

– Но ведь крупом болеют многие дети.

– Ее сиплость – вот что обращает на себя внимание. Это явный признак напряжения голосовых связок, – медленно сказал доктор Варгас. – Мне нужно посмотреть горло Лупе, гортань, голосовые связки.

Эдвард Боншоу, с ясновидящей девочкой, спящей у него на коленях, словно окаменел. Казалось, его захлестнула грандиозность взятых на себя обетов и в те же мятежные миллисекунды укрепила его: тут была и его преданность святому Игнатию Лойоле, по какой-то безумной причине объявившему, что он пожертвует жизнью, ради того чтобы уберечь от грехов одну лишь проститутку на одну лишь ночь; тут были два одаренных ребенка, стоявшие на пороге либо опасности, либо спасения – притом оба; а теперь тут был еще и человек науки, молодой доктор – атеист Варгас, озабоченный лишь тем, чтобы осмотреть горло ребенка-медиума, его гортань, голосовые связки... О, какие тут были сокрыты возможности для схоласта, какие острые коллизии!

В этот момент Лупе и проснулась или – если она уже не спала какое-то время – открыла глаза.

– Что такое гортань? – спросила девочка своего брата. – Я не хочу, чтобы Варгас смотрел ее.

– Она хочет знать, что такое гортань, – перевел ее слова Хуан Диего доктору Варгасу.

– Это верхняя часть трахеи, где находятся голосовые связки, – объяснил Варгас.

– Моя трахея никого не касается. Что это такое? – спросила Лупе.

– Теперь ее интересует ее трахея, – сообщил Хуан Диего.

– Ее трахея является основным стволом системы трубок; воздух проходит через эти трубки в легкие Лупе и из них, – сказал доктор Варгас Хуану Диего.

– У меня в горле есть трубки? – спросила Лупе.

– У нас у всех в горле есть трубки, Лупе, – сказал Хуан Диего.

– Кем бы ни была доктор Гомес, Варгас хочет заняться с ней сексом, – сказала Лупе брату. – Доктор Гомес замужем, у нее есть дети, она намного старше его, но Варгас все еще хочет заняться с ней сексом.

– Доктор Гомес – специалист по уху, горлу и носу, Лупе, – объяснил Хуан Диего своей необычной сестре.

– Доктор Гомес может посмотреть мою гортань, а Варгас не может – он мерзкий! – заявила Лупе. – Мне не нравится зеркало у задней стенки моего горла – сегодня плохой день для зеркал!

– Лупе немного волнуется насчет зеркала, – только и сказал Хуан Диего доктору Варгасу.

– Скажи ей, что зеркало не причинит боли, – сказал Варгас.

– Спроси его, причинит ли боль доктору Гомес то, что он хочет сделать с ней! – закричала Лупе.

– Или доктор Гомес, или я будем держать язык Лупе с помощью марлевого тампона, чтобы язык был подальше от задней стенки горла, – объяснил Варгас, но Лупе не дала ему продолжать.

– Гомес – женщина, она может держать мой язык, но не Варгас, – сказала Лупе.

– Лупе с нетерпением ждет встречи с доктором Гомес, – только это и перевел Хуан Диего.

– Доктор Варгас, – сказал Эдвард Боншоу, глубоко вздохнув, – в удобное для обеих сторон время – я имею в виду, конечно, в другое время, – я думаю, что нам с вами стоит поговорить о наших убеждениях.

Рукой, которая так нежно касалась спящей девочки, доктор Варгас крепко, гораздо более сильной хваткой, сжал пальцы на запястье нового миссионера.

– Вот что я думаю, Эдвард, или Эдуардо, или как там вас еще зовут, – сказал Варгас. – Я думаю, что у девочки что-то с горлом, возможно, проблема в гортани, и это влияет на голосовые связки. А этот мальчик будет хромать всю оставшуюся жизнь, останется ли он с ногой или лишится ее. Вот с чем нам приходится иметь дело – я имею в виду здесь, на этой земле, – добавил доктор Варгас.

Когда Эдвард Боншоу улыбался, его светлая кожа словно начинала сиять, и мысль о том, что в нем внезапно включился внутренний свет, казалась до жути правдоподобной. Когда сеньор Эдуардо улыбался, морщинка, такая же четкая и резкая, как молния, пересекала ярко-белую идеальную метку на лбу фанатика между его золотистыми бровями.

– А если вас интересует мой шрам... – Этими словами, как и всегда, Эдвард Боншоу начал свою историю.

10

Никаких компромиссов

– Увидимся раньше, чем ты думаешь, – сказала Дороти Хуану Диего. – Мы закончим в Маниле, – загадочно произнесла молодая женщина.

Лупе в приступе истерики сказала Хуану Диего, что они закончат в сиротском приюте, – так и оказалось, правда не совсем. Дети свалки – монахини, как и все остальные, называли их «los niños de la basura» – перевезли свои вещи из Герреро в иезуитский приют. Жизнь в приюте отличалась от жизни на свалке, где их защищали только Ривера и Дьябло. Монахини в «Потерянных детях» – вместе с братом Пепе и сеньором Эдуардо – более внимательно присматривали за Хуаном Диего и Лупе.

У Риверы разрывалось сердце оттого, что его заменили, но он был в черном списке у Эсперансы за то, что наехал на ее единственного сына, а Лупе так его и не простила за то непочиненное боковое зеркало. Лупе сказала, что она будет скучать только по Дьябло и Грязно-Белому, но она будет скучать и по другим собакам в Герреро, и по собакам на свалке – даже по мертвым. С помощью Риверы или Хуана Диего Лупе и сама обычно сжигала мертвых собак на *basurero*. (И конечно же, и Хуану Диего, и Лупе будет не хватать Риверы – они оба будут скучать по *el jefe*, несмотря на то что Лупе говорила о нем.)

Брат Пепе был прав насчет монахинь в «Потерянных детях»: они могли еще принять детей свалки, хотя и без особого желания; это их мать Эсперанса была для монахинь головной болью. Но Эсперанса для всех была головной болью – включая доктора Гомес, ЛОР-специалиста, которая была очень милой женщиной. Не ее вина, что доктор Варгас хотел заняться с ней сексом.

Лупе понравилась доктор Гомес – даже когда доктор осматривала ее гортань, а Варгас окопачивался рядом, создавая дискомфорт. У доктора Гомес была дочь возраста Лупе; отоларинголог умела разговаривать с девочками.

– Знаешь, в чем особенность утиных ног? – спросила у Лупе доктор Гомес, которую звали Марисоль.

– Утки плавают лучше, чем ходят, – ответила Лупе. – У них между пальцами сплошная пленка.

Когда Хуан Диего перевел слова Лупе, доктор Гомес ответила:

– У уток между пальцами на ногах мембрана – то есть перепонка. У тебя тоже есть перепонка, Лупе, – она называется врожденной перепонкой гортани. «Врожденная» означает, что ты родилась с ней; у тебя в гортани есть перепонка, своего рода мембрана. Это довольно редко встречается, это означает, что ты особенная, – пояснила доктор Гомес. – Такое бывает один раз на десять тысяч рождений – вот насколько ты особенная, Лупе.

Лупе пожала плечами.

– Эта моя перепонка совсем не что-то особенное, – сказала Лупе, что требовало перевода. – Я знаю вещи, которых не должна знать.

– Лупе может быть ясновидящей. Обычно она права насчет прошлого, – попытался объяснить Хуан Диего доктору Гомес. – Насчет будущего она не так точна.

– Что имеет в виду Хуан Диего? – спросила доктор Гомес доктора Варгаса.

– Не спрашивайте Варгаса – он хочет заняться с вами сексом! – закричала Лупе. – Он знает, что вы замужем, что у вас есть дети и что вы слишком стары для него – но он все равно думает о том, чтобы сделать это с вами. Варгас всегда думает о сексе с вами! – сказала Лупе.

– Расскажи мне, о чем тут речь, Хуан Диего, – попросила доктор Гомес.

Ну и черт с ним, подумал Хуан Диего и пересказал ей все – слово в слово.

– Девочка и вправду умеет читать мысли, – отметил Варгас, когда Хуан Диего закончил. – Я думал о том, как признаться вам, Марисоль, но более конфиденциально, чем так, как вышло, – если бы у меня хватило на это смелости.

– Лупе знала, что случилось с его собакой! – сказал брат Пепе Марисоль Гомес, указывая на Эдварда Боншоу. (Очевидно, что Пепе пытался сменить тему.)

– Лупе знает, что случилось почти с каждым и что каждый думает, – объяснил Хуан Диего доктору Гомес.

– Даже когда Лупе спит, она читает чужие мысли, – сказал Варгас. – Не думаю, что перепонка в гортани имеет к этому какое-то отношение, – добавил он.

– Ребенка совершенно невозможно понять, – сказала доктор Гомес. – Перепонка в гортани объясняет высоту ее голоса – ее сиплость и напряжение голосовых связок, но не то, что никто не может ее понять. Кроме тебя, – добавила доктор Гомес, обращаясь к Хуану Диего.

– Марисоль – хорошее имя, расскажи ей о нашей ущербной матери, – попросила Лупе Хуана Диего. – Скажи доктору Гомес, чтобы она проверила горло нашей матери; с ней гораздо хуже, чем со мной! – настаивала Лупе. – Скажи доктору Гомес!

Что Хуан Диего и сделал.

– С тобой все в порядке, Лупе, – кивнула доктор Гомес девочке, выслушав, что Хуан Диего рассказал об Эсперансе. – Врожденная перепонка гортани не означает ущербности – это такая особенность.

– Некоторые вещи, которые я знаю, они не очень хорошие, – сказала Лупе, но Хуан Диего оставил это непереуверенным.

– Для десяти процентов детей с перепонкой характерны врожденные аномалии, – пояснила доктор Гомес доктору Варгасу, но, говоря это, она не смотрела ему в глаза.

– Объясните слово «аномалии», – потребовала Лупе.

– Лупе хочет знать, что такое аномалии, – перевел Хуан Диего.

– Отклонение от общего правила, от нормы, – сказала доктор Гомес.

– Ненормальность, – сказал доктор Варгас Лупе.

– Я не такая ненормальная, как вы! – возразила ему Лупе.

– Чувствую, что мне не нужно знать, о чем это она, – пробурчал Варгас Хуану Диего.

– Я посмотрю горло ее матери, – сказала доктор Гомес, но не Варгасу, а брату Пепе. – Мне все равно надо поговорить с матерью. Есть несколько вариантов, касающихся перепонки у Лупе...

Марисоль Гомес, красивая и молодая мать, не стала продолжать. Лупе прервала ее.

– Это моя перепонка! – заплакала девочка. – Никто не смеет прикасаться к моим ненормальностям, – сказала Лупе, гневно глядя на Варгаса.

Когда Хуан Диего повторил это дословно, доктор Гомес произнесла:

– Это как вариант. И я посмотрю горло матери, – повторила она. – Не думаю, что у нее будет перепонка, – добавила доктор Гомес.

Брат Пепе покинул кабинет доктора Варгаса, чтобы найти Эсперансу. Варгас сказал, что ему также нужно поговорить с матерью Хуана Диего о ситуации с мальчиком. Судя по рентгеновским снимкам, ногу Хуана Диего не было смысла оперировать. Она заживет в том виде, как есть: раздавленная, но с достаточным поступлением крови и вывернутая в сторону. И это навсегда. Какое-то время никаких весовых нагрузок, как выразился Варгас. Сначала инвалидное кресло, потом костыли – потом хромота. (Жизнь калеки – это наблюдать, как другие делают то, что он не может сделать, – не худший вариант для будущего писателя.)

Что касается горла Эсперансы – это была совсем другая история. У Эсперансы не было перепонки в гортани, но анализ мазка из горла дал положительный результат на гонорею. Доктор Гомес объяснила ей, что в девяноста процентах случаев поражение глотки возбудителем гонореи нельзя обнаружить – никаких симптомов нет.

Эсперанса поинтересовалась, где у нее глотка и что это такое.

– Пространство в глубине полости рта, в которое открываются носовые ходы, пищевод и трахея, – ответила доктор Гомес.

Лупе не было при этом разговоре, но брат Пепе позволил Хуану Диего присутствовать; Пепе знал, что, если Эсперанса занервничает или впадет в истерику, только Хуан Диего сможет понять ее. Но вначале Эсперанса сказала, что ей на это плевать; у нее была гонорея раньше, хотя она не знала, что у нее это в горле. «Сеньор Трипак» – так выразилась Эсперанса, пожимая плечами; было легко понять, откуда у Лупе эта манера, хотя в девочке было мало от Эсперансы, – во всяком случае, на это надеялся брат Пепе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.